

**НИЧТО О НИЧЕМ,
ИЛИ ОТЧЕТ г. ИЗДАТЕЛЮ «ТЕЛЕСКОПА»
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ПОЛУГОДИЕ (1835)
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

I

Вы обязали меня сделать легкий и короткий обзор хода нашей литературы, во время вашего пребывания за границей, и привели меня тем в крайнее затруднение. Разве вам не известно, что *ничто не ново под луною*? Каких же хотите вы новостей от русской литературы, и в такой короткий период ее существования? «Тем лучше для вас, тем меньше вам труда», скажете вы. Нет, вы неправы: труда от этого мне не только не меньше, но предстоит истинно геркулесовский подвиг: я должен написать статью, а из чего я вам напишу ее, о чем буду повествовать вам в ней? *О ничем*.. Итак, надо сделать *что-нибудь* из *ничего*? — Помните ли вы, как один из знаменитейших наших писателей, из первостатейных гениев, уgomонил насмерть свою литературную славу тем, что вздумал писать о *ничем*, и весь вылился в *ничто*?..¹⁴⁹ Конечно, я не пользуюсь литературною славою и, следовательно, не подвергаюсь опасности посадить ее на мель рокового *ничто*; но у меня другой страх, и очень основательный. Если я не пользуюсь ни тению той лучезарной славы, которою сиял некогда помянутый великий писатель, то вместе не имею и искры его гения, который нашелся, хотя и в конечной гибели своей репутации, высказаться в *ничем* на нескольких страницах. Притом же, хотя я, в отсутствие ваше, волею или неволею, играл роль сторожа на нашем Парнасе, окликая всех проходящих и отдавая им, своею алебардою, честь по их званию и достоинству, хотя неутомимо и неусыпно стоял на

своем посту; однакож многое ускользнуло от моей бдительности. Бывало, нахлынет целая толпа — и тут некогда было расспрашивать каждого порознь; стукнешь алебардою по всем и пропустишь. А теперь неужели мне надо делать поголовную перекличку, бегать по всем закоулкам и собирать народ православной? Нет — отрекаюсь от этого труда; и так было много хлопот и, может быть, много шуму из пустяков! — Да и притом возможное ли это дело? Много ли из тех, которые промчались мимо моей сторожки, остались теперь в живых?.. Итак, я скажу вам только разве о тех лицах, которые особенно врезались в моей памяти, буду повествовать только о тех событиях и случаях, которые особенно поражали мое внимание. Мой обзор будет отрывчат, беспорядочен и несвязен, как всякий рассказ наскоро о предмете многосложном, разнообразном и ничтожном.

Итак, я *обозреваю*, становлюсь *обозревателем*! — *Обозревать, обозреватель* — вы помните, как громко звенели некогда эти два словца в нашей литературе? — Кто не обозревал тогда? Где не было обзоров? Какой журнал, какой альманах не имел своего штатного обозревателя? — И это была должность нетрудная, легкая, казенная; за нее брался всякой, не запасаясь дорогим лорнетом учености, даже иногда вовсе без очков грамматики и здравого смысла! — Отчего ж теперь так мало пишется обзоров? Куда девались все эти обозреватели? — Я прошу у вас позволения заняться предварительно разрешением этого любопытного вопроса, хотя по крайней мере для того, чтоб наполнить мою статью объяснением причин, почему она не может быть *ничто*?

Обзрения всякого рода бывают результатом или сознания силы, или сомнения в ней. Кто часто пересчитывает свои деньги, поверяет счета и подводит итоги, тот или богатеет день от дня, или беднеет; само собою разумеется, что в первом случае он хочет удостовериться в улучшении своего состояния и определить степень этого улучшения, а во втором случае хочет измерить глубину своего падения, хочет взглянуть в бездну, отверстую перед ним, как бы с намерением приучить себя заранее к ее ужасному виду или как будто находя жестокое наслаждение в сознании своего бедственного положения, веселясь собственным своим отчаянием. У нас была уже литература, был Ломоносов, Сумароков, Херасков, Петров, Державин, Фонвизин, Хемницер, Богданович, Капнист; потом Карамзин, Дмитриев, Крылов, Озеров, Мерзляков и, наконец, Батюшков и Жуковский: все эти люди пользовались почти равным участием славы, всеми ими восхищались почти в равной степени, по крайней мере все они слыли равно за *художников* и *гениев* (или, по-тогдашнему, за *образцовых писателей*). Критиковать тогда значило хвалить, восхищаться, делать возгласы, и много-много, если указы-

вать на некоторые неудачные стишки в целом сочинении или на некоторые слабые места, с советом поэту, как их *починить*. Понятия о творчестве тогда были готовые, взятые напрокат у французов; критики не было, потому что критика более или менее есть сестра сомнению, а тогда царствовало полное убеждение в богатстве нашей литературы как по количеству, так и по качеству; литературных обзрений тогда тоже не было и не могло быть, потому что в обозрение всегда входит критика, а вместо их иногда случались по временам, и то редко, реестры писателей и их писаний, перемешанные с известным числом хвастливых восклицаний. Мерзляков вздумал было напасть на авторитет Хераскова и, взявши ложные основания, высказал много умного и дельного, но как его критицизм был явным анахронизмом, то и не принес никаких плодов. Но вдруг все переменялось: явился Пушкин, и вместе с ним так называемый *романтизм*. В чем состоял этот романтизм? В отношении к Пушкину этот романтизм состоял в том, что изо всех наших поэтов Пушкина одного можно было назвать поэтом-художником и не ошибиться, что он, вместо того чтобы писать грэмкие и торжественные оды на современные события, обыкновенно или теряющие свою прелесть для потомства, или представляющиеся ему в другом свете, стал говорить нам о чувствах общих, человеческих, всем более или менее доступных, всеми более или менее испытанных; что он напал на истинный путь и, будучи рожден поэтом, свободно следовал своему вдохновению. Да! воля ваша, а я крепко убежден, что *народ* или *общество* есть самый лучший, самый непогрешительный критик. Я однажды высказал, или, лучше сказать, повторил чужую мысль¹⁵⁰, что *Державина спасло его невежество*: отрекаюсь торжественно от этой мысли, как совершенно ложной. Державин не был учен, но находился под влиянием современной ему учености, разделял верования и мнения своего времени об условиях творчества и назвал своему гению всю жизнь свою шел по ложному пути. Поэтому те из его созданий, которые противоречили современной ему эстетике, отличаются истинною поэзией. Возьмите, например, «Водопад»: похоже ли это на оду, дифирамб, кантату? Это просто элегия, которая по своей форме и своему духу только тем отличается от элегий даже самых крошечных наших поэтиков, что запечатлена гением Державина. И зато как прекрасна и глубока эта элегия! — Но возьмите его торжественные оды: что это такое? Посмотрите, как он в них никогда не мог поддержать до конца своего напряженного восторга, как он в конце каждой из них падал и, начавши высоко и громко, оканчивал ровно ничем! — И кто станет теперь читать эти торжественные оды?.. Измаил, Прага, Римник, Кагул — все эти имена напоминают о действиях великих; но то ли они, эти великие

действия, для нас, чем были для современников? Мы, юноши нынешнего века, мы, бывши младенцами, слышали от матерей наших не об Измаиле, не о Кагуле, не о Рымнике, а об двенадцатом годе, о Бородинской битве, о сожжении Москвы, о взятии Парижа. Эти события и ближе к нам по времени и поважнее прежних в своей сущности; да и они слабеют уже в нашем воображении, заглушаемые громами араратским, забалканскими, варшавскими. Но поэзия всех этих великих происшествий сама по себе так необъятна, что ее трудно уловить, увековечить в звуках. Сверх того, мы уже уверились теперь, что факт или событие сами по себе ничего не значат: важна идея, выражаемая ими. Итак, что же значат все эти торжественные оды, какой интерес могут иметь для потомства все эти громогласные описания? Скажут: это питает народную гордость, дает наслаждение святому чувству любви к отечеству. Русские брали непреодолимые твердыни и всему свету доказали свою храбрость; это подвиги, которые поэзия должна передавать потомству: очень хорошо! но ведь храбрость есть неотъемлемое свойство русских; но ведь они доказывали ее всегда и везде, как только был случай; но ведь ничтожная горсть русских удержала за Россию Грузию и уничтожила все попытки персидской армии; но ведь ничтожная же горсть русских отбила Армению и защитила ее против Персии и Турции?.. Эти подвиги у нас так часты, так обыкновенны; они составляют ежедневную жизнь народа русского... Да! Державин шел путем слишком тесным: он льстил современности, нападал на интересы частные, современные, и редко прибегал к интересам общим, никогда не стареющим, никогда не изменяющимся — к интересам души и сердца человеческого! И в этом виновата ученость века, которой он был непричастен, но под влиянием которой он всегда находился. Не зная по-латыни, он подражал Горацию, потому что тогда все подражали Горацию; не постигнув духа и возвышенной простоты псалмов Давида, он перелагал их с прозы на громкие, напыщенные стихи, потому что все наши поэты, начиная с Ломоносова, делали это, не говоря уже о французах. Гораций воздвигнул себе *памятник*, Державин тоже; но что у первого было, вероятно, вдохновением, то у второго было подражанием. Обратимся назад. Итак, романтизм, в отношении к Пушкину, состоял в том, что он искал поэзии не в современных и преходящих интересах, а в вечном, неизменяемом интересе души человеческой*. В отношении к другим поэтам, вышедшим вслед за Пушкиным, романтизм состоял в том, что ода была решительно заменена элегией, высокопарность унылостью, жесткий, ухабистый и неуклюжий стих гармонич-

* Этот вопрос будет подробно рассмотрен нами в особенной статье о Пушкине, которая уже пишется. — Б. ¹⁵¹

ческим, плавным, гладким. В отношении к целой литературе романтизм состоял в том, что было отвергнуто, как нелепость, драматическое триединство, хотя не было написано ни одной хорошей драмы. Итак, вот весь наш романтизм! Тогда явилось множество поэтов (стихотворцев и прозаиков), стали писать в таких родах, о которых в русской земле дотоле было видом не видеть, слухом не слышать. Тогда-то наши критики пустились в обозрения: они увидели, что у нас есть писатели и в классическом и в романтическом роде, и захотели поверить свое родное богатство, подвести его итоги. Это была эпоха очарования, упоения, гордости: новость была принята за достоинство, и эти поэты, которых мы теперь забыли и имена и творения, казались чем-то необыкновенным и великим. И это было очень естественно: новость направления и духа сочинений всегда бывают камнем преткновения для критики.

Итак, очень ясно, что раннее очарование, непрочные надежды родили гордость и самоуверенность в наших критиках; а гордость и самоуверенность породили множество обозрений. Только один Пушкин был предметом достойным и обозрений, и критик, и споров, а между тем все шло зауряд в обозрения. И разумеется, эти обозрения были важны, горды и веселы, как молодые надежды, как неопытная юность, гордящаяся силами, еще не удостоверясь в них. Новость за новостью, поэма за поэмою, роман за романом, повесть за повестью, альманах за альманахом, журнал за журналом, а элегии и отрывки без числа, без меры, и все это возбуждало участие, восторг, удивление, потому что все это было ново. Следовательно, обозревателю было, что обозревать, было о чем потолковать. Одна голая и сухая перечень годовых явлений литературного мира могла составить статейку; а, разведенная фразами, разжиженная чувствованьями, сдобренная теориями и идеями, эта перечень превращалась в большую статью. И эту статью читали наперерыв и с гордостью повторяли находившиеся в ней итоги и возгласы.

Между тем начиналась уже и критика. Так как романтизм привел за собой эманципацию, то естественным образом начало закрадываться сомнение насчет достоинства писателей прежней школы. Нападая на классицизм, стали нападать и на классиков, не подозревая, что, с немногими исключениями, выигрыш состоял только в Пушкине, а что все остальное была та же старина, только на новый лад. Но пока управлялись со стариками, и новички успели состариться и наскучить. Разумеется, это совершилось не вдруг, а постепенно. Тогда обозрения начали терять свой кредит, и вместо их начала усиливаться основательная критика.

Итак теперь — что теперь обозревать? Нового уж нет ничего, все старо. У меня страстная охота писать, и я во что бы то ни стало хочу написать роман — но что же? Я во всем

предупрежден! Хочу писать роман исторический — старо; перерываю все эпохи русской истории — старо; хочу писать роман нравописательный и нравственно-исторический — но и это старо и пошло; хочу писать роман географический, статистический, топографический — опять старо; вздумал было однажды нравственно-фантастический — но и тут какой-то злодей предупредил меня; хочу писать подземный, представить людей маленьких с мизинец и потом больших с коломенскую версту — куда! этим еще восемнадцатый век воспользовался, а я ничего не хочу иметь общего с восемнадцатым веком; но вот вдруг блеснула светлая мысль: хочу вывести людей допотопных и погом людей ходящих, мыслящих и говорящих вверх ногами — и тут предупредила меня игривая фантазия Барона Брамбеуса¹⁵². Ну, поверите ли, почтенный издатель «Телескопа», куда я ни бросался, как ни ломал свою бедную голову, а кончил тем, что пришел в отчаяние и решил-ся не писать ничего по части поэзии. Но наши писатели не так робки и, может быть, не так горды и самолюбивы в этом отношении, как я: они, зная свое — тормозят старину и слушать не хотят ни публики, ни рецензентов. Честь и слава их храбрости, но каково публике-то от этой храбрости? — Но публике поделом: кто ее заставляет пробавляться истертою стариной! — А каково рецензентам-то? — Но и им поделом: кто их заставляет писать рецензии и горячиться из пустяков? — А каково обозревателям-то — что им остается обозревать? — А кто их заставляет обозревать, когда нечего обозревать? — Они и не обозревают!.. И слава богу!..

И после этого вы, милостивый государь, требуете от меня — чего же? — обозрения!.. Но, видно, делать нечего — и я, в угождение вам, посвящаюсь в обозреватели!..

Увы! миновалось то золотое, прекрасное время, когда наши красноречивые обозреватели, в сердечной простоте, с теплою верою, с полным убеждением, что они делают дело, а не порют вздор, начинали свои обозрения взглядами на состояние земного шара, когда еще на нем не было людей, или с яиц Леды, или с потопа, или по крайней мере с Греции и Рима, чтобы прошедшим объяснить настоящее. Обозревателю наших дней не для чего залетать так далеко: он должен начать с предмета, самого близкого к сердцу всех и каждого, самого необходимого в жизни — с кармана... Да! в кармане должен видеть он таинственный рычаг этой литературной деятельности, которая промышляет и оптом и по мелочи; в нем должен искать он решения на все мудреные загадки современной русской литературы¹⁵³. Увы! миновал золотой век нашей литературы, наступил железный, а

...В сей век железный,
Без денег, слава — ничего!¹⁵⁴

Что делать! покоримся судьбе — видно, так должно быть, а чему быть, тому не миновать! Теперь все пустились в литературу, все сделались поэтами, романистами и повествователями. Классический период нашей литературы был не умнее, но как-то благороднее нынешнего; тогда пускались в литературу из славы, из известности, и притом только люди, по крайней мере знавшие грамматику, знакомые с литературным тактом своего времени, не чуждые здравого смысла; теперь же романтизм освободил нас и от грамматики, и от приличия, и от здравого смысла. Тогда литература была уделом какого-то привилегированного класса; теперь же пишут и сапожники, и пирожники, и подьячие, и лакеи, и сидельцы *авошных* и *мушных* лавок, словом все, которые только умеют чертить на бумаге каракульки. Откуда набралась эта сволочь? Отчего она так расхрабрилась? Где рычаг этой внезапной и живой литературной деятельности? Я уже сказал, что его надо искать в *кармане*... Знаете ли что, почтеннейший Николай Иванович! ¹⁵⁵ Я душевно люблю православный русский народ и почитаю за честь и славу быть ничтожной песчинкой в его массе; но моя любовь сознательная, а не слепая. Может быть, вследствие очень понятного чувства, я не вижу пороков русского народа, но это несколько не мешает мне видеть его странностей, и я не почитаю за грех пошутить, под веселый час, добродушно и незлобливо, над его странностями, как всякой порядочный человек не почитает для себя за унижение посмеяться иногда над собственными своими недостатками. Знаете ли вы, в чем состоит главная странность вообще русского человека? В каком-то своеобразном взгляде на вещи и упорной оригинальности. Его упрекают в подражательности и бесхарактерности; я сам, грешный, вслед за другими взводил эту небылицу (в чем и каюсь); но этот упрек неоснователен: русскому человеку вредит совсем не подражательность, а, напротив, излишняя оригинальность. Пробегите в уме вашем всю его историю — и доказательства явятся перед глазами. Вот они... Но постойте, чтоб яснее выразить мою мысль, я должен прибавить, что русский человек, с чрезвычайною оригинальностью и самобытностью, соединяет и удивительную недоверчивость к самому себе и, вследствие этого, страх как любит перенимать чужое, но, перенимая, кладет тип своего гения на свои заимствования. Так, еще в давние веки прослышал русский человек, что за морем хороша вера, и пошел за нею за море. В этом случае он, по счастью, не ошибся; но как поступил он с истинной, божественной верой? Перенес ее священные имена на свои языческие предрассудки: св. Власию поручил должность бога Волоса, Перуновы громы и молнии отдал Илье-пророку, и т. д. Итак, вы видите: переменялись слова и названия, а идеи остались все те же! Потом явился на Руси царь умный и великий ¹⁵⁶, который захотел русского человека

умыть, причесать, обрить, отучить от лени и невежества: взвыл русский человек гласом великим и замахал руками и ногами; но у царя была воля железная, рука крепкая, и потому русский человек, волею или неволею, а засел за азбуку, начал учиться и шить, и кроить, и строить, и рубить. И в самом деле, русский человек стал походить с виду как будто на человека: и умыт, и причесан, и одет по форме, и знает грамоту, и кланяется с пришаркиванием, и даже подходит к ручке дам. Все это хорошо, да вот что худо: кланясь с пришаркиванием, он, говорят, расшибал нос до крови, а подходя к ручкам прелестных дам, наступал на их ножки, цепляясь за свою шпагу и не умея справляться с треуголкою; выучив наизусть правила, начертанные на зеркале рукою великого царя, он не забыл, не разучился спрягать глагол *брать* под всеми *видами*, во все *времена*, по всем *лицам* без изъятия, по всем *числам* без исключения; надевши мундир, он смотрел на него не как на форму идеи, а как на форму парада, и не хотел слушать, когда мудрое правительство толковало ему, что правосудие не средство к жизни, что присутственное место не лавка, где отпускают и права и совесть оптом и по мелочи, что судья не вор и разбойник, а защитник от врагов и разбойников. Потом был на Руси другой царь умный и добрый; видя, что добро не может пустить далеко корня там, где нет науки, он подтвердил русскому человеку учиться, а за ученье обещал ему и большой чин и знатное место, думая, что приманка выгоды всего сильнее¹⁵⁷; но что ж вышло?.. Правда, русский человек смышлен и понятлив, коли захочет, так и самого немца за пояс... И точно, русский принялся учиться, но только, получив чин и место, бросал тотчас книги и принимался за карты — оно и лучше!.. Итак, не ясно ли после этого, что русский человек самобытен и оригинален, что он никогда не подражал, а только брал из-за границы формы, оставляя там идеи, и одевал в эти формы свои собственные идеи, завещанные ему предками. Конечно, к этим доморощенным идеям не совсем шел заморский наряд, но к чему нельзя привыкнуть, к чему нельзя приглядеться?..

Обратимся к литературе. С нею человек поступил точно так же, как и со всем тем, о чем я уже говорил. Как все прочее, она у него — цветок пересаженный, и надо сказать, как все хорошее, не им самим, а правительством. Литература наша началась при Елисавете, а получила некоторую оседлость при Екатерине II. Нам известно, что в царствование этой великой жены наша литература находилась, подобно почти всем европейским литературам, под влиянием французской. Французская литература была тогда полным выражением XVIII века, а что такое XVIII век, об этом всякой знает. Мы скажем только, что XVIII век был малый веселый и разгульный, любил мягко поспать, сладко поест, пьяно попить и ни о чем не тужить. *Веселиться* — была его цель, и все средства почи-

тал он позволенными к достижению этой цели. Всем известна мудрая русская пословица: «богатый на деньги, а голь на выдумки». Поэты и вообще литераторы были тогда люди бедные и неважные, но это не помешало им веселиться наравне с людьми богатыми и веселыми: они надели на себя ливреи людей богатых и важных и, за их столами, *в восторге радости, запели песни дивные, живые* ¹⁵⁸. Кого ж они воспевали? Героев тогда не было; греческая литература была плохо понимаема, но хорошо была понята литература латинская — и стали воспевать меценатов! Да как было и не воспевать их? Люди были они богатые, поэтов кормили сладко, хотя иногда употребляли их вместо плевалниц, но что ж за беда — ведь утешиться не трудно. Этого было довольно для русского человека: он так хорошо, на этот раз, сошелся с французом, что взял и идею и форму, и, следовательно, еще в первый раз, явился совершенным подражателем. Тогда-то пошли наши оды, с любимым словечком: «о ты», и пр. Но в мире все оканчивается, кончился и XVIII век, кончился везде, а у нас еще здравствовал, и только в одной литературе стал изменяться. В этом отношении мы должны с благодарностью произносить имя Жуковского, познакоившего нас с германскою литературой и передавшего нам несколько благоуханных цветов ее. Были дарования, но иные из них шли не своею дорогою, сбиваемые XVIII веком, и остались только в литературных обозрениях, а не в памяти народа; другие, по своей незначительности, успели добиться только эфемерной славы. Идея искусства и потребность искусства проявились только в начале третьего десятилетия настоящего века; но, кроме Пушкина и Грибоедова, не было поэтов; зато, как я уже и говорил выше, было много обозрений.

Какое ж следствие из всего этого? А вот какое: сначала наша литература родилась вследствие мысли правительства и симпатии характера русского народа к господствовавшему тогда характеру французов; потом она сделалась подражательницей вдруг нескольких литератур; теперь... теперь... — Но позвольте мне после вывести полный и удовлетворительный результат. Я так уже устал, а впереди предстоит большой труд: трудно обозреть цветущую долину, но еще труднее бесплодную аравийскую степь и потому...

II

Начинаю мое обозрение с журналов, потому что как ни мало теперь у нас журналов, но все больше, чем книг. Разумеется, на те и другие я смотрю, как обозреватель, которому нужны материалы для обозрения и для которого важно только то, о чем он что-нибудь может сказать; каковы бы ни были наши

журналы, о них все-таки можно сказать много и *за* и *против*; но книг, стоящих внимания, в каком бы то ни было отношении, вышло без вас не более двух или трех. Здесь я опять должен употребить оговорку: так как моему рассмотрению подлежат книги только по части художественной и притом оригинальные, то и не удивительно, что я нахожу так мало книг, вышедших в последнее полугодие прошлого года. Итак, обращаюсь к журналам и приступаю к делу.

Но с каких журналов должно мне начать? С московских или с петербургских? И попом с какого именно? — Начинаю — по старшинству и важности — с «Библиотеки для чтения», а за нею брошу взгляд на прочие петербургские журналы. У меня есть причина, и причина очень достаточная для этого предпочтения в пользу «Библиотеки для чтения»: журнал, владеющий большим против своих собратьев числом подписчиков и в продолжение не одного уже года поддерживаемый постоянным вниманием публики, такой журнал, говорю я, может быть, не лучший, но без сомнения, должен быть важнейший; потому что все, что пользуется авторитетом, заслуженным или незаслуженным, все, что имеет на публику большое влияние, хорошее или вредное, все то важно и достойно внимания и прилежного исследования; а «Библиотека для чтения», во всех этих отношениях, есть первый и важнейший в России журнал, и, следовательно, обозреватель с него должен начинать свой разбор. О прочих петербургских журналах я буду говорить тотчас после «Библиотеки» и прежде московских изданий, не для соблюдения порядка, а тоже вследствие основательной и важной причины: все петербургские журналы, как я покажу это ниже, имеют, в своем направлении, духе и правилах, много общего с «Библиотекою», хотя в то же время они суть не более, как жалкие пародии на этот соблазнительный для них образец: те же цели, те же замашки, те же усилия, хотя и не та ловкость, не то умение, не та сила, не то исполнение! — Да! недаром петербургская книжная производительность не в ладу с московскою: каждая из них, несмотря на видимое разногласие с самой собою, имеет общий характер, одно направление, одно основание, и, вследствие совершенной противоположности друг с другом, во всех этих отношениях, обе они должны находиться одна к другой в естественной неприязни, как теперь примодушный турок к хитрому персиянину, как некогда тяжелый англичанин к легкому французу. И я постараюсь показать, сколько возможно, отличительные черты, отличающие их одну от другой и поставляющие их в неприязненное отношение одну к другой.

«Библиотека для чтения» начинает уже *третий* год своего существования, и, что очень важно, она нисколько не изменяется ни в объеме, ни в достоинстве своих книжек, ни в духе и характере своего направления; она всегда верна себе, всегда

равна себе, всегда согласна с собою; словом, идет шагом ровным, поступью твердою, всегда по одной дороге, всегда к одной цели; не обнаруживает ни усталости, ни страха, ни непостоянства. Все это чрезвычайно важно для журнала, все это составляет необходимое условие существования журнала и его постоянного кредита у публики; в то же время это показывает, что «Библиотекою» дирижирует один человек, и человек умный, ловкий, сметливый, деятельный — качества, составляющие необходимое условие журналиста; ученость здесь не мешает, но не составляет необходимого условия журналиста, для которого, в этом отношении, гораздо важнее, гораздо необходимее универсальность образования, хотя бы и поверхностная, многосторонность познаний, хотя бы и верхоглядных, энциклопедизм, хотя бы и мелкий. О «Библиотеке» писали и пишут, на нее нападали и нападают, сперва враги, а наконец, и друзья, поклявшиеся ей в верности до гроба, пожертвовавшие ей собственными выгодами, разумеется в чаянии больших от союза с сильным и богатым собратом¹⁵⁹; а «Библиотека» все-таки здравствует, смеется (большею частию молча) над нападками своих противников! — В чем же заключается причина ее неимоверного успеха, ее неслыханного кредита у публики? — Если бы я стал утверждать, что «Библиотека» журнал плохой, ничтожный, это значило бы смеяться над здравым смыслом читателей и над самим собою: факты говорят лучше доказательств; и первенство и важность «Библиотеки» так ясны и неоспоримы, что против них нечего сказать. Гораздо лучше показать причины ее могущества, ее авторитета. На «Библиотеку», на Брамбеуса и на Тютюнджи-оглу (что все почти тождественно), было много нападков, часто бессильных, иногда сильных, было много атак, часто неверных, иногда впопад, но всегда бесполезных. Не знаю, прав я или нет, но мне кажется, что я нашел причину этого успеха, столь противоречащего здравому смыслу и так прочного, этой силы, так посящей в самой себе зародыш смерти и так постоянной, так не слабеющей. Не выдаю моего открытия за новость, потому что оно может принадлежать многим; не выдаю моего открытия и за орудие, долженствующее быть смертельным для рассматриваемого мною журнала, потому что истина не слишком сильное орудие там, где еще нет литературного общественного мнения. «Библиотека» есть журнал *провинциальный*: вот причина ее силы. Рассмотрим это. Но я должен взять несколько повыше, должен упомянуть о ее начале, ее зарождении на свет. Всякому известно, что этот журнал основан книгопродавцем, который приобрел у публики большую уверенность, и приобрел по справедливости, по заслуге; всякому известно, что этот книгопродавец ведет торговлю большую и, следовательно, в состоянии делать большие обороты и пускаться в важные пред-

приятня; это обстоятельство ручалось за исправный выход книжек, за их типографическое достоинство, за хорошую и честно выполняемую плату сотрудникам журнала. Правда, это обстоятельство, с одной стороны благоприятствуя зарождающемуся предприятию, с другой могло и повредить ему, потому что публика знала, что владелец журнала не мог быть ни его издателем, ни его редактором, ни даже его сотрудником, что поэтому он должен был поручать издание своего журнала разным лицам, одному после другого, неизбежным следствием чего должно быть разногласие в мнениях, противоречие в духе и направлении издания; притом публике были известны в числе редакторов имена гг. Греча и Булгарина, издателей очень посредственных журналов и авторов очень плохих романов, и она лишь впоследствии могла увидеть, что гг. Греч и Булгарин были и остались только вкладчиками своих статей и корректорами «Библиотеки», что Тютюнджи-оглу не имел ничего общего с ними в своей ловкости, уме, остроумии, что самый язык и правописание всех статей, особенно последнее, принадлежали ему же, а не им; но нашей публике до этого не было нужды; ей обещаны были толстые книги и участие почти всех знаменитостей — этого для ней было достаточно. Итак, одно уже то обстоятельство, что новый журнал был собственностью богатого и честного книгопродавца, было одною из сильнейших причин его успеха. Потом это участие почти всех знаменитостей нашего письменного мира, эти имена, выставленные в программе и на обертках «Библиотеки», как залог того, что вся литературная деятельность должна сосредоточиться в одном издании, чего никогда не бывало, о чем самая мысль всегда казалась несбыточной — какая приманка для *нашей* доверчивой публики!..¹⁶⁰ Правда, некоторые из авторов, имена которых двенадцать раз в год повторялись на обертках журнала, не подарили его ни одною статьею; правда, некоторые из знаменитостей сошли с обертки, к немалому вреду репутации журнала; правда, и половина оставшихся имен, при втором годе, совсем исчезла с обертки¹⁶¹; правда, большая часть этих знаменитостей была совсем не знаменита, и между этими знаменитостями многие были сделаны на скорую руку ради предстоящей потребности, многие незначительности были произведены в знаменитости, произведены самим этим журналом ради предстоящей нужды; но *нашей* публике не было до того нужды: она попрежнему встречала постоянно некоторые имена, или в самом деле любимые ею, или к которым она пригляделась, что для ней все равно, и, доверчивая, невзыскательная, питала теплую веру ко всему, что выдавали ей за талант и гений сами эти же таланты и гении. Дело было сделано, а русский человек вообще сговорчив, и в литературных делах за неустойкой не гонится, если вы исполнили хоть часть условий, — так мало

избалован он полными устоями. Присоедините к этому его уважение к авторитетам, к громким именам, его доверчивость ко всему, что другими или самим собою провозглашается за дарование. Итак, вот вторая и очень важная причина успеха «Библиотеки» при самом ее начале. Теперь следует третья, не менее важная: кто не помнит хвастливого и, можно сказать, бесстыдно-самохвального объявления об издании «Библиотеки»? кто не помнит возгласов «С. пчелки», которая прожужжала всем уши, что кто не подпишется на «Библиотеку», тот не патриот, тот не любит отечества, не желает ему добра, что тот ренегат, изменник? — И что же? — Это хвастливое объявление, эти вопли, эти возгласы во всяком другом обществе были бы почтены по крайней мере за неприличные, возбудили бы подозрение, недоверчивость и убили бы предприятие в самом его зародыше; но у нас это-то чуть ли и не есть вернейшее средство успеха¹⁶². Я часто замечал за самим собою, что когда мне случалось ходить для покупок в город и когда слух мой оглушался, а мое человеческое достоинство оскорблялось невежливой и грубою политикою нашей национальной коммерции, громко и неистово превозносящей свои товары, и нагло и почти насильно затаскивающей покупателя в свою лавку, то я замечал, что чуть ли не всегда попадал я в самую горластую, в самую наглую лавку: что делать — человек русский! — Проклинаешь это азиатское самохвальство, эту предательскую вежливость, сбивающуюся на унижение, эту бесстыдную наглость, и к ней-то именно попадаешь, как рыба на удочку — на Руси так истари ведется!.. Итак вот три причины, сделавшие «Библиотеку» сильною, когда еще «Библиотеки» не было и на свете!

Теперь посмотрим, какими средствами умела она поддерживать себя во мнении публики, или, лучше сказать, какими средствами умела сделать себя необходимою для публики, и, всеми осуждаемая, всеми ненавидимая, сделать всех своими подписчиками? Я сказал, что тайна постоянного успеха «Библиотеки» заключается в том, что этот журнал есть по преимуществу журнал *провинциальный*, и в этом отношении невозможно не удивляться той ловкости, тому уменью, тому искусству, с какими он принаровляется и подделывается к провинции. Я не говорю уже о постоянном, всегда правильном выходе книжек, одном из главнейших достоинств журнала; останавлиюсь на числе книжек и продолжительности срока их выхода. Я думал прежде, что это должно обратиться во вред журналу; теперь вижу в этом тонкий и верный расчет. Представьте себе семейство степного помещика, семейство, читающее все, что ему попадется, с обложки до обложки; еще не успело оно дочитать до последней обложки, еще не успело перечитать, где принимается подписка и оглавление статей, составляющих содержание номера, а уж к нему летит другая

книжка, и такая же толстая, такая же жирная, такая же болтливая, словоохотливая, говорящая вдруг одним и несколькими языками. И в самом деле, какое разнообразие! — Дочка читает стихи гг. Ершова, Гогниева, Струговщикова и повести гг. Загоскина, Ушакова, Панаева, Калашникова и Масальского; сынок, как член нового поколения, читает стихи г. Тимофеева и повести Барона Брамбеуса; батюшка читает статьи о двухпольной и трехпольной системе, о разных способах удобрения земли, а матушка о новом способе лечить чахотку и красить нитки; а там еще остается для желающих критика, литературная летопись, из которых можно черпать горстями и пригоршнями готовые (и часто умные и острые, хотя редко справедливые и добросовестные) суждения о современной литературе; остается пестрая, разнообразная смесь; остаются статьи ученые и новости иностранных литератур. Не правда ли, что такой журнал — клад для провинции?..

Но постоит, это еще не все: разнообразие не мешает и столичному журналу и не может служить исключительным признаком провинциального. Бросим взгляд на каждое отделение «Библиотеки», особенно и по порядку. Стихотворения занимают в ней особое и большое отделение: под многими из них стоят громкие имена, каковы Пушкина, Жуковского; под большею частью стоят имена знаменитостей, выдуманных и сочиненных наскоро самою «Библиотекою»; но нет нужды: тут все идет за знаменитость; до достоинства стихов тоже мало нужды: имена, под ними подписанные, ручаются за их достоинство, а в провинциях этого ручательства слишком достаточно. То же самое в отношении имен должно сказать и о русских повестях: иностранные подписаны именами, которые для провинций непременно должны казаться громкими, хотя бы и не были громки на самом деле; подписаны именами журналов, громких и известных во всем мире. То же должно сказать и о прочих отделениях «Библиотеки». Теперь скажите, не большая ли это выгода для провинций? — Вам известно, как много и в столицах людей, которых вы привели бы в крайнее замешательство, прочтя им стихотворение, скрывши имя его автора и требуя от них мнения, не высказывая своего; как много и в столицах людей, которые не смеют ни восхититься статьею, ни осердиться на нее, не заглянув на ее подпись. Очень естественно, что таких людей в провинциях еще больше, что люди с самостоятельным мнением попадают туда случайно и составляют там самое редкое исключение. Между тем и провинциалы, как и столичные жители, хотят не только читать, но и судить о прочитанном, хотя бы отличались вкусом, блистать образованностью, удивлять своими суждениями, и они делают это, делают очень легко, без всякого опасения компрометировать свой вкус, свою разборчивость, потому что имена, подписанные под стихотворениями и статьями «Биб-

лиотеки», избавляют их от всякого опасения посадить на мель свой критицизм и обнаружить свое безвкусие, свою необразованность и невежество в деле изящного. А это не шутка! — В самом деле, кто не признает проблесков гения в самых сказках Пушкина потому только, что под ними стоит это магическое имя «Пушкин»? То же и в отношении к Жуковскому. А чем ниже Пушкина и Жуковского гг. Тимофеев и Ершов? Их хвалит «Библиотека», лучший русский журнал, и принимает в себя их произведения? — Может ли быть посредственна или нехороша повесть г. Загоскина? Ведь г. Загоскин автор «Милославского» и «Рославлева»; а в провинции никому не может притти в голову, что эти романы, при всех своих достоинствах, теперь уже не то, чем были, или по крайней мере чем казались некогда. Может ли быть не превосходна повесть г. Ушакова, автора «Киргиз-Кайсака», «Кота Бурмосека», бывшего сотрудника «Московского телеграфа», сочинителя длинных, скучных и ругательных статей о театре? Провинция и подозревать не может, чтоб знаменитый г. Ушаков теперь был уволен из знаменитых вчистую. — Кто усумнится в достоинстве повестей гг. Панаева, Калашникова, Масальского? — Да, в этом смысле «Библиотека» журнал провинциальный!

III

Теперь я буду следить за «Библиотекою» шаг за шагом; я обнаружу всю ее политику, изъясню подробнее причины ее могущества. Я не буду пускаться о «Библиотеке» в излишние рассуждения, буду представлять одни факты, а там пусть понимают их, как угодно. До сих пор я сделал только предисловие, определил точку зрения, с которой гляжу на «Библиотеку», теперь покажу, что я вижу в ней. Прошу вас не забывать, что основная мысль моя о «Библиотеке» состоит в том, что этот журнал *провинциальный*, что он издается для *провинции* и силен одною *провинциею*. Итак, приступаю к подробнейшему объяснению признаков ее привилегированного провинциализма. Я не почитаю за нужное слишком распространяться о стихотворном отделении «Библиотеки». Пора стихов миновала в нашей литературе; наступила пора смиренной прозы. Хороших стихов теперь не достанешь ни за какие деньги, и потому «Библиотека» не виновата, что помещает дурные стихи; но она виновата в том, что выдает их за хорошие *. Это с ее стороны расчет, расчет, в который входит

* Впрочем, справедливость требует заметить, что между множеством плохих стихотворений знаменитых и не знаменитых авторов в «Библиотеке» было помещено два-три стихотворения г. Козлова, от которых веет прежним благоуханием его поэзии. Особенно замечательна пиэска «К неверной».

преимущественно провинция. Итак, о стихах нечего много говорить; но можно побольше поговорить о прозаическом отделении русской словесности.

Разумеется, это отделение состоит преимущественно из повестей и может назваться по преимуществу провинциальным. Пересматриваю «Библиотеку» и чьи имена встречаю в отделении повестей русской фабрики? — Во-первых, гг. Загоскина, Ушакова: в «Библиотеке» это знаменитости первой величины, авторитеты, лучезарным светом которых она озаряется с особенным удовольствием, с особенною хвастливостью; потом повести гг. Степанова, Маркова и многих других, имен которых я не могу упомянуть, по причине их множества; это знаменитости недавние, авторитеты юные. Чтобы яснее развить мою мысль, я должен рассмотреть попристальнее некоторые из этих повестей. В таком случае мне надо было начать с г. Загоскина, как первой знаменитости «Библиотеки», в которой он поместил две повести: «Вечера на Хопре» и «Три жениха, провинциальные очерки»; но первой я совсем не читал, а о второй упомянул слегка при отзыве о «Недовольных», и мне кажется, довольно удачно уловил ее характеристику, что, разумеется, очень нетрудно было сделать¹⁶³. Итак, не желая повторять одно и то же, замечу только, что г. Загоскин очень удачно назвал свою повесть «Провинциальными очерками»: этим названием он написал на нее самую лучшую критику *à priori*, а помещением ее в «Библиотеке» сделал на нее самую лучшую критику *à posteriori*! Обращаюсь к г. Ушакову.

Вам, почтеннейший Николай Иванович, известен гибкий и универсальный талант г. Ушакова; вы, верно, еще не забыли, что он писал некогда предлинные, преисполненные славянского остроумия и прескучные статьи о театре¹⁶⁴; вы помните также, что он, г. Ушаков, писал презлые, хотя уж и чересчур холодные, сатирические аллегории и в этом роде явился основателем и главой важной, хотя и безлюдной школы: я разумею «Кота Бурмосеко», потом знаете, что он написал очень порядочный роман «Киргиз-Кайсак». Да, все это должно быть вам давно известно, но вот чего вы, наверное не знаете: г. Ушаков не удовольствовался приобретенною славою в этих трех родах, пошел далее, как и следует всякому сильному дарованию. Сперва он сделал попытку воскресить на Руси дух покойного Августа Лафонтена и написал повесть «Марихен», но этот опыт не удался: Марихен не только не разбудила Августа Лафонтена, но и сама заснула с ним сном непробудным. Эта неудача не лишила, однако, бодрости г. Ушакова: как просвещенный и опытный литератор, он понял, что нельзя идти против духа времени, и бросился в другую сторону; в которой вполне сознал свое направление и свое назначение; он решился сделаться *народным*. Рассказавши нам довольно увлекательно о страданиях юной аристократки, рассказав

о страданиях Киргиз-Кайсака, плебея по рождению, но аристократа по мысли и чувству, он теперь бросился совершенно в противоположную сторону и принялся за плебеев, плебеев по рождению, плебеев по уму, чувству и образованности. Уже не балы, а вечеринки рисует теперь нам его чудотворная кисть, и само собою разумеется, что от этих вечеринок слух наш поражается не звуками кадрили и мазурок, зрение не блестящими люстрами и кенкетами, обоняние не благовонными парфюмами, а побранками и плоскими шутками, чадом сальных свечей и запахом водки, ерофеича, разного сорта наливок, а иногда и простой сивухи, сельдей, икры паюсной и зёрнистой, луку зеленого и репчатого, жареной печенки и пр. и пр.; вместо князей, кавалеристов, дам теперь он выводит и скромных отставных пехотинцев, и купцов третьей гильдии, и мещан всех разрядов, словом все, что носит бороду, одевается в зипун или в длиннополый сюртук с высоким лифом, в телогрейку или даже в поняву, а голову повязывает бумажным или парчевым платком. Короче сказать: почтеннейший г. Ушаков сделался теперь прозаическим г. Измайловым¹⁶⁵. Переход удивительный, метаморфоза чудесная, но вместе с тем и очень понятная: г. Ушаков покорился духу времени и увлекся народностью.

Народность в литературе!.. Позвольте мне, почтенный издатель «Телескопа», сделать здесь небольшое отступление от материи и оставить на минутку-другую г. Ушакова. Я хочу сказать, или, скорее, повторить уже сказанное мною когда-то о народности; этот предмет занимает теперь всех, вы сами пишете об нем, и потому я считаю теперь кстати подать и свой голос. Что такое народность в литературе? Отражение индивидуальности, характеристики народа, выражение духа внутренней и внешней его жизни, со всеми ее типическими оттенками, красками и родимыми пятнами — не так ли? — Если так, то мне кажется, нет нужды поставлять такой народности в обязанность истинному таланту, истинному поэту; она сама собой непременно должна проявляться в творческом создании. Вы признаете большее или меньшее влияние индивидуальности поэта на его произведения, как бы они разнообразны ни были! Вы не станете отрицать, что чем дарование поэта сильнее, тем оно оригинальнее! Итак, если личность поэта должна отражаться в его творениях, то может ли не отражаться в них его народность? Разве всякой поэт, прежде чем он *человек*, не есть русский, француз или немец? — Возьмем поэта русского: он родился в стране, где небо серо, снега глубоки, морозы трескучи, вьюги страшны, лето знойно, земля обильна и плодородна: разве все это не должно положить на него особенного характеристического клейма? Он, в младенчестве, слышал сказки о могучих богатырях, о храбрых витязях, о прекрасных царевнах и княжнах, о злых колдунах, о страшных домовых;

он с малолетства приучил свой слух к жалобному, протяжному пению родных песен; он читал историю своей родины, которая не похожа на историю никакой другой страны в мире; он провел лета своей юности среди общества, которое не похоже ни на какое другое общество; он принадлежит к народу, который еще не живет полною жизнью, но у которого настоящее уже интересно как шаг, как переход к прекрасному будущему, у которого это будущее еще в зародыше, еще в зерне, но уже так богато надеждами... Потом, если он поэт, поэт истинный, то не должен ли сочувствовать своему отечеству, разделять его надежды, болеть его болезнями, радоваться его радостями?.. Кто не согласится с этим, кто будет противоречить этому? — Итак, спрашиваю: может ли истинный русский поэт не быть русским поэтом, русским не по одному рождению, а по духу, по складу ума, по форме чувства, как бы ни глубоко был он проникнут европеизмом? — Да, почтеннейший издатель, если поэт владеет истинным талантом, он не может не быть народным, лишь бы только творил из души, а не мудрил умом, не брал работою?.. Возьмите Крылова: оставляя покуда в стороне вопрос о басне как художественном произведении и, смотря на него самого, даже не как на поэта, а как на краснобая, не видите ли вы в нем чистейшей народности, без всякой примеси тривьяльности; не доказывается ли его народность и живым сочувствием к нему народа русского, и его непереводаемостью ни на какой язык в мире? — Теперь возьмем другую сторону, совершенно противоположную этой, возьмем «Онегина», лучшее произведение Пушкина: разве эта Татьяна, Ольга, этот Ленский, эти старики Ларины, эти провинциальные фигуры, Буяновы, Петушковые, Зарецкие, самый Онегин — разве они, будучи лицами типическими, человеческими и, следовательно, всемирными, не принадлежат исключительно к русскому миру, не взяты из русской жизни; разве, переименовав их имена на Адольфов, Генриетт, Эрнестов, Амалий, вы не уничтожите их смысла, их значения? — Но — скажут, может быть, иные — это доказывает только, что поэт, зная хорошо свое общество, верно описал его, а не то, чтобы он был народен, потому что он так же бы верно мог описать и немецкое общество, следовательно, народность состоит во взгляде на вещи и формах проявления чувств и мыслей! — Так, милостивые государи, вы почти правы, но вот в чем дело: мог ли бы поэт верно описать свое общество, если б он не симпатизировал ему, если б не был участником его жизни, поверенным его тайн? Если ж он так же верно мог изобразить какой-нибудь эпизод из европейской жизни, это значит только, что мы, русские, также причастны и европейской жизни, как своей собственной. Что ж касается до народности собственно поэта, то вам стоит только попристальнее взглянуть в «Онегина», чтобы в мыслях и чувствах самого автора увидеть все

элементы народности; чтобы признать, что только русский поэт, и притом в известный момент русской жизни, мог так мыслить и чувствовать, и так выражать свои мысли и чувства! — Наконец возьмем еще третью сторону, совершенно не похожую на обе первые, возьмем сочинения г. Гоголя. В них поэтизируется по большей части жизнь собственно народа, жизнь массы, и автору очень естественно было бы впасть в простонародность, но он остался только народным, и в том же самом смысле, в котором народен Пушкин. Отчего ж это? Оттого, что г. Гоголь поэт, что он владеет высоким и могучим талантом; оттого, что в его описании какой-нибудь глупой ссоры двух идиотов или пошлой жизни двух простаков я вижу взгляд на жизнь, взгляд грустно-шутливый; я воображаю, сколько в мире людей, которых жизнь проходит в мелочах эгоизма, в еде, питье и спанье и которые думают, что они живут и делают должное; воображаю, и мне становится грустно. Самые так называемые сальности и плоскости, которые у всякого другого были бы неминуемо отвратительны, в повестях г. Гоголя отличаются какою-то грацией, смягчаются какою-то наивностью; встречая самые резкие из них, вы прощаете их автору, как прощаете гримасу прекрасной и любимой женщины! — Что же следует из всего этого? А то, что у кого есть талант, кто поэт истинный, тот не может не быть народным!

Но у кого нет таланта и кто захочет быть народным, тот всегда будет простонародным и тривьяльным; тот, может быть, верно спишет всю отвратительность низших слоев народа, кабака, площади, избы, словом, черни, но никогда не уловит жизни народа, не постигнет его поэзии. Самым лучшим и самым живым доказательством этой истины может служить г. Ушаков. Он народен в пошло понимаемом смысле этого слова, но избавь нас бог от такой народности — она и так уж надоела нам! — Оставляя в покое народность творений г. Ушакова, я покажу здесь только их провинциальность и, следовательно, их важность для «Библиотеки для чтения». Очень жалею, что у меня нет теперь под рукой той книжки «Библиотеки», где помещена повесть г. Ушакова «Сельцо Дятлово»¹⁶⁶. То-то славная, то-то чудная повесть! Вот уж истинно народная и совершенно провинциальная! В ней описывается прежалостная история, а провинция так любит жалостные истории; развязка ее счастливая, а провинция еще больше любит счастливые развязки. Если я только не совсем забыл, то дело, изволите видеть, вот в чем: один помещик взял себе на воспитание двух сироток, мальчика и девочку; едва девочка успела сделаться девушкой, как злодей лишил ее невинности. Она от него, кажется, скрылась и пропала из глаз его лет на десять. Что же? Он, кажется, опять пошел служить и, мучимый совестью, искал свою жертву, чтоб как-нибудь загладить свое преступление. Наконец, будучи уже майором, узнал ее в

толстой богатой вдове-купчихе, женился на ней, начал пить вместе ерофеич, браниться с ней по-военному, а она с ним по-купчески; иногда доходило и до драки: он, как водится, справлялся с своею дражайшею половиною кулаками и пинками, а она, как водится, отделялась от атак своего сожителя когтями и ухватами; проспавшись, они мирились, и таким образом в мире и любви прожили до глубокой старости. Брат её был отдан в полк, и старый майор писал к нему поучительные послания, исполненные нравственности овощных лавочек и отличавшийся канцелярско-мещанским слогом. Все это у г. Ушакова ужасно как мило и занимательно и поучительно для всех вообще читателей, для провинциальных в особенности. Потом в седьмой книжке «Библиотеки» уже за прошлый год, без вас, помещена другая повесть г. Ушакова: «Пиюша»¹⁶⁷; эта повесть названа почтенным автором карикатурой и названа так небезосновательно. Ею-то займусь я здесь в особенности, потому что она для вас должна быть новостью.

Был жил в Москве Тихон Михеевич, сын небольшого чиновника, который оставил своему сыну душ с полсотни, плод взяточничества. Хотя почтенный г. Ушаков и не скрывает от своих читателей, что батюшка героя его повести был вор; однако замечает, что он «пользовался расположением и одобрением своих покровителей, дружбою своих товарищей и уважением всех знавших его». После чего почтеннейший г. Ушаков с удивительною наивностью прибавляет: «этот капиталец стоит нескольких ревизских душ!» Нечего сказать — хороший капиталец, хороша и логика!.. Тихон Михеевич до сорока пяти лет волочился за девушками, но шутницы всегда изменяли ему, и он после каждой измены со вздохом восклицал: «Ах, изменницы!» Когда ж ему минуло сорок пять лет, он не шутя задумал жениться на кубической, или, как замечает остроумный автор, эллипсоидической дурище, Липаше. Несмотря на то, что Тихон Михеевич не знал «французского языка и теорий изящного, он знал хорошо дела, любил чтение, в особенности был страстен к стихам, говорил хорошо, судил здраво и мастерски писал деловые бумаги». Мы должны прибавить еще, что он не только был мастер на деловые бумаги и любил стихи, но и сам был в душе глубокий поэт, чему доказательством может служить следующее четверостишие его работы, сделанное им для своей глупой и уродливой невесты:

Кривошеина прелестна!
Льзя ль тебя мне не любить?
Без тебя в груди мне тесно;
Не могу тебя забыть.

Несмотря на то, что Тихон Михеевич был чрезвычайно смешной и уродливой наружности, длинен донельзя ростом, «он был человек умный, добрый и честный». Не правда ли, что

такой герой для провинциальной повести лучше всякого Ахилла и Джайра? Не правда ли также, что для столицы он решительно не годится? — О! «Библиотека» знает, какие нужны для провинции повести, а г. Ушаков знает, какие нужны для «Библиотеки» повести!..

Тихон Михеевич женился; и вышла прекрасная пара: жена была мала ростом и толста, зато муж был длинен и худощав; они были глупы, как нельзя больше, и муж с большим резонансом мог бы пропеть этот куплет из одной старинной песни:

Фекла, ты карикатура,
Гур, нетесаный чурбак;
Ты невинна, что ты дура,
Я невинен, что дурак!

Женясь, наши дурачки так разнежались, что жена мужа стала называть *Тишею*, а муж жену *Пиюшею*, и вот отчего повесть получила название «Пиюши», это же слово произведено от Олимпияды, а не от пьяницы (Пиюша уже впоследствии сделалась пьяницей, когда, к немалому удовольствию своего сожителя, пристрастилась к пиву). Как любил Тихон Михеевич свою дражайшую половину, боже мой, как он любил ее! Она была его утешою, радостью, игрушкою; она бросалась со всего размаха на его тощие ноги, прыгала ему на шею, скакала по комнате, так что дребезжали окна. Но земное счастье не прочно: рано или поздно, а должен быть ему конец, и он настал, этот роковой конец счастью нежного мужа. И что лишило блаженства доброго Тихона Михеевича: болезнь или смерть жены, чума или холера? О, нет, все не то! век будете думать, а все не придумаете; только чудотворная фантазия г. Ушакова могла изобрести такую ужасную и непредвиденную катастрофу супружеского счастья. Слушайте — и дивитесь, дивитесь, как изобретательна, как смела бывает провинциальная фантазия...

Однажды, когда Тихон Михеевич сидел в туфлях, во фланелевой фуфайке и любовался, как прыгала его ненаглядная Пиюша, а она, говорит автор, «прыгала так увесисто, что каждым ее прыжком можно было вколотить сваю на вершок», ему вдруг пришла в голову охота запищать:

- Пиюша! Пиюшечка моя! Пиусеночик!
- Ну, что?
- Дай мне табачку понюхать, моя милочка!
- Вишь какой! лень самому встать!
- Из твоих пальчишек мне приятнее, мой котеночек!
- Хорошо, хорошо!

И Пиюша сунула ему табак в нос.

— Как приятно! как вкусно! — говорил Тиша, протягивая губы к толстым пальцам Пиюши. — Любишь ли ты меня?

— Люблю.

— А вот сейчас узнаем!.. А... а... а... чих!.. правда! правда!

— Ну так не люблю!

— Не любишь?.. Нет, неправда. Не чихается!

— Понюхай еще!

И Пиюша забила ему такую щепоть, что Тиша, еще не донохавши, расчихался.

— Ха, ха, ха! Вот видишь!

— По... постой... а... чих!.. а... пос... той!.. Вот... а... чих!.. Вот я тебя!

— Я убегу!

— А я поймаю!

И Тихон Михеевич, расширив руки и ноги в сажень, начал передвигаться направо и налево, ловя Пиюшу, которая так прыгала, что стены дрожали.

— Поймал, поймал!.. Постой же, под арест тебя, под караул!

Он усадил ее в небольшие кресла, или табурет, стоявший в углу.

— Сиди тут! Смирно!.. Пока я не позову. Смирно!

И, скорчившись, он начал пятиться до самой двери, приговаривая: сидеть! сидеть! — Тут он, все скорчившись, приподнял обе ладони против лица и начал манить пальцами, крича: цып, цып, цып, сюда, сюда!

На этот крик Пиюша вскочила и побежала.

— Ах!

— Что случилось?

— Ах!.. ой!..

Случилась беда, и какая беда! Вот здесь-то надо видеть всю широту, всю размашистость кисти г. Ушакова и удивляться ей! Дело вот в чем: вам уж известно, что Тиша посадил свою Пиюшу в табурет, который был с ручками, как кресла, и так как содержащее было ограниченнее содержимого, то, когда Пиюша побежала к мужу, содержащее как будто обхватило содержимое и приросло к нему. Какая картина! Дорого бы я дал, чтоб увидеть ее в натуре! О, г. Ушаков обладает изобретательным гением! Не всякому бы пришла в голову такая чудная идея!

Пиюша рассердилась и назвала своего мужа «толстолапым медведем». В дверях раздался хохот, излетавший из горла молодого человека с усами, отвратительно нахального вида. Это был Виссарион Кривошеин¹⁶⁸, двоюродный брат Пиюши. Чудное лицо этот Виссарион Кривошеин, или попросту Висяша! Он злодей — что перед ним Франц Моор? в ученики не годится. Да, фантазия Шиллера должна замерзнуть перед фантазией г. Ушакова! Вы не можете представить, как я рад, что русский поэт победил немецкого. А ведь знаете ли что? одна и та же причина произвела Франца Моора и Висяшу Кривошеина — ненависть к пороку! Висяша был благодетельствован отцом Пиюши, который его, сироту, выучил «*французскому языку и другим наукам*», и отдал в университет. Висяша

не учился,пил, и буянил в трактирах, за что и был исключен из университета; но нисколько не уныл от этого, а только называл с презрением своих наставников «отсталыми». Потом он поступил в военную службу, кое-как дослужился до офицерского чина, после чего был выгнан и из военной службы за свое нахальство и дерзость. Потом обаял своими дерзкими суждениями одного помещика, который возымел высокое понятие о его достоинствах, поручил ему воспитание своих детей; но так как Висяша сделал их негодяями, то и был выгнан из дому. Эта история повторилась с ним и в другом доме. Не правда ли, что Висяша мерзкий, негодный человек? Впрочем, не удивительно, что он был таким: «Висяша судил и рядил о Фихте и о Гегеле и был так убежден в тождестве миров идеального и реального, что смело называл презренными невеждами тех, которые не понимали знаменитого тождества. В особенности пленился Висяша Шеллинговым Я». Теперь дело, кажется, очень ясно: может ли быть не буйном, не пьяницею и не нахалом человек, который читает Фихте, Гегеля и Шеллинга, рассуждает об идентитете и о Я?..

Почтеннейшие, за что такая ненависть к философии? Или — *хорош виноград, да зелен — набьешь оскомину?* — Перестаньте подрывать у дуба корни, поднимите ваши глаза вверх, если только вы можете поднимать их вверх, и узнайте, что на этом-то дубе растут ваши желуди...

Обратимся к Висяше. Ему нечего было есть, он вспомнил, что его кузина вышла замуж за достаточного человека, и отправился к ней. Он был принят Тишею радушно, Пиюшею тоже и, в благодарность, начал толковать Тише, что он живет для того только, чтоб жить и пр., а Пиюшу сгал вразумлять, что ее муж дурак. Потом сманил Пиюшу и увез это сокровище от его обожателя, Тиша с горя умер, и пр. и пр.

Что ж за идею хотел выразить г. Ушаков своим Висяшею? А вот какую:

Мой Висяша существо не выдуманное и не заимствованное из карикатуры Гюи-де-Кари. Нет, он существует и духом и плотью, но существует не в одном лице, а в тысяче, в сотнях тысяч лиц. Гением парит он над просвещенною Европою и силится доказать, что он не более и не менее, как дух времени, представитель успехов разума новейшего и лучшего поколения.

Но что ж тут худого? Если так, то, право, Висяша славный малый, и мы не понимаем ненависти к нему почтенного г. Ушакова. Но, постойте, я сейчас найду ключ к разрешению этого недоразумения.

Висяша теперь всем недоволен, даже и тем, что солнце светит. Так, почтенный читатель, когда вы в театре, сидя в креслах, с удовольствием смотрите на пьесу и на игру актеров, и слышите, что позади вас кто-то роншет, презрительно насмехается и говорит вполголоса, по-русски: что

за мерзость! по-французски: *quelle horreur!* вы, не оглядываясь, знайте, что за вами сидит Висяша. Когда вы читаете хорошую книгу и, наслаждаясь ею в душе, говорите спасибо автору, и вдруг вам приносят журнал, в котором та же книга оценена ниже поношенных лаптей, поверьте, что эта оценка сделана Висяшкой.

А так вот что! Вот в чем вся беда-то! Понимаем!.. г. Ушаков теперь уж не критик, не рецензент; это ремесло не далось ему, и он оставил его; он теперь писатель, он уж не судья, а подсудимый! Конечно, чего бояться хорошему автору? Как бы ни была злонамеренна критика, но она никогда не уронит хорошего сочинения, особенно художественного. Ведь и на Байрона нападали с ожесточением, ведь и Гёте преследовали за пальчиво, а все-таки Байрон остался Байроном, а Гёте — Гёте. За что ж это ожесточение против рецензентов? Не есть ли это сознание своей посредственности, ропот авторитета, чувствующего свое падение?.. К тому же, давно ли почтенный г. Ушаков был таким грозным, таким неумолимым гонителем бедного нашего театра? Давно ли он был таким неутомимым рыцарем против классиков и осыпал их, бедных, с ног до головы, картечью своих *тяжело-словенских* острот за неимением чисто-русских?.. Что ж это такое? Или сознание несправедливости своих прежних мнений?.. Нет! не то означает это отступление от самого себя, это возвращение к классицизму, это покровительство посредственности; тут есть две другие причины; первая: г. Ушаков увидел, что он, в излишней запальчивости, колотил *своих*; вторая: он хотел написать повесть для «Библиотеки» и, следовательно, для провинции; и тут и там он, вероятно, успел. Итак, поздравляем!..

Есть еще в «Библиотеке» курьезная повесть «Беда, если б не медведь»: с этою я познакомлю вас как можно короче.

Прапорщик Рамирский влюбился в княгиню Златопольскую, прекрасную и молодую вдову. Будучи семнадцати лет, прелестная Мария вышла за семидесятилетнего скареда. Муж ее вскоре заболел, а она пред его смертью уехала в Италию. В ее отсутствие вкралась в доверенность издыхающего скелета капитанша Дарья Климовна Борщ, и вследствие ее плутней князь сделал такое завещание, что если княгиня выйдет замуж по выбору капитанши, то наследует миллион двести тысяч, в противном же случае должна удовольствоваться только стами тысячами, а остальные пойдут к законным наследникам. Капитанша имела очень важную причину способствовать такому распоряжению со стороны старого сластолюбца: у ней был племянник вроде Митрофанушки, и за него-то прочила она княгиню. Эта, разумеется, отказалась, взяла свои сто тысяч и очень скоро их промотала. Между тем ее любезный Рамирский возвратился из польской кампании уже поручиком, увешанный орденами и начал наступательно требовать руки княгини.

Княгиня решилась застрелиться, а перед смертью задать пиру на славу. Надобно сказать, что у капитанши был задушевный друг, майор Фрол Силыч Торопенко, который питал удивительную симпатию к скотам и любил их выкармливать; так выкормил он медвежонка и тайком от капитанши держал его в доме. Капитанша, напившись шампанского до несостояния держаться на своих капитанских ногах и намазав себе щеки мастикой своего изобретения, растворенною в меду, легла в комнате, смежной с комнатою майора. Вдруг раздался крик: спасите! спасите!.. умираю! — В комнату ввалила толпа, а с нею и Рамирский — и что ж представилось изумленным глазам зрителей?

Одна из любопытнейших сцен частной жизни. Медведь, привлеченный медовым запахом мастики, изволил облапить Дарью Климовну и прехладнокровно облизывал ее тучные ланиты.

Какова сцена?.. И для кого она?.. Уж, конечно, не для столицы, а для провинции! — Но посмотрим, чем кончилось дело?

Рамирский бросился в комнату княгини, которой он отдал на сохранение свои пистолеты. Вбегаем, что ж? Княгиня лежит на полу, распростертая перед образом, а подле ней, на полу, пистолет, со взведенным курком. Ужас, да и только! Женщина, которая, первая из своего пола, хочет попробовать застрелиться! — Очевидно, что и этот эффект совершенно в провинциальном духе, потому что и провинциальное воображение тоже находит неизъяснимую, таинственную прелесть в ужасном (ужасном в его вкусе).

А потом что? Разумеется, Рамирский заставил капитаншу дать слово, что она не будет противоречить княгине в выборе жениха, и застрелил медведя. Ужас, как мило и затейливо!

В этой же повести автор, описывая Петергофский праздник первого июля и замечая, что в этот день в Петергофе заняты людьми даже щели, говорит:

Я хотел однажды описать, что делается в этих щелях, но мне сказали, что все это уже описано Поль-де-Коком.

Жаль, право, жаль! А это бы очень пригодилось для «Библиотеки» и, следовательно, для провинций.

Читали ль вы еще остроумную повесть г. Тимофеева «Утрехтские происшествия»? Очень занимательная повесть: в провинциях, я думаю, все без ума от ней. В ней описан бунт женщин против мужчин, которых они, при помощи какой-то волшебницы, спровадили под землю. Но что ж вышло? Женщины скоро восчувствовали необходимость мужчин и поняли их значение; перессорились между собою из лоскутков, разделились на две партии; дело дошло до генерального сражения, обе враждующие стороны явились на место битвы с оружием в руках, но бросили это оружие, а вцепились друг другу в во-

лосы и принялись в потасовку. Здесь автор весьма основательно удивляется силе природы. Дело кончилось тем, что мужчины были возвращены. Какая злая и умная насмешка над сен-симонистами и над госпожою Дюдеван!..¹⁶⁹

Приведу еще пример, который, как самый сильный, я с умыслом берег к концу, чтоб оправдать пословицу: «конец венчает дело». Есть в «Библиотеке» повесть г. Шидловского: «Уездная казначейша». В этой повести, между прочим, повествуется, как толпа гулявших вечером по городу дам и кавалеров шла мимо казначеева огорода, плетень которого во многих местах обвалился, шла в то время, когда в огороде, в густой и высокой крапиве, казначейша объяснялась в любви какому-то мелкому уездному чиновнику, и как любопытная исправница, смекнув делом, поползла на четвереньках, чтоб поближе рассмотреть неясно представлявшийся вечером предмет, и как собеседник казначейши влепил исправнице в лоб полено...

Но я чувствую, что зашел далеко, что слишком глубоко разрыл эту кучу перепрелого и фосфорического навоза, что моим читателям может сделаться дурно; но я не виноват в этом, я не выдумываю, а только представляю экстракты из тех *изящных* произведений, которыми *лучший* русский журнал потчует *нашу* публику...

IV

Перехожу к отделению «Иностранной литературы» в «Библиотеке». Это почти то же, что отделение «Русской литературы». Все иностранные повести, подобно русским, от первой строки до последней, проникнуты провинциализмом. Все, что составляет последние ряды французской литературы, все, что составляет балласт французских, иногда и английских журналов, что чуждо всякой изящности, что отзывается пустотою, посредственностью, мелочностью, и что отзывается провинциальным остроумием, провинциальною забавностью, все это переводится в «Библиотеке». Тщетно стали бы вы искать в этих повестях анализа души и сердца человеческого, идей века, взгляда на жизнь; глубокого чувства, роскошной фантазии; тщетно стали бы вы искать между этими повестями такой, которая бы заставила вас или воскликнуть в порыве восторга: «прекрасна жизнь!», или воскликнуть в тоске: «скучно жить на свете!» Скорей вы воскликните, прочтя несколько переводных повестей «Библиотеки»: «скучно читать повести в «Библиотеке», очень скучно!..» Так как я обещался ничего не говорить без доказательства, все подкреплять фактами, то приведу примера два, как ни скучно и ни тяжело для меня это. В одной, например, повести описывается, как один чужак купил себе дом, которым не мог нарадоваться. В самом деле, дом был настоящее чудо, да вот беда, что он

стоял на каком-то перекрестном пункте, которого нельзя было миновать, куда бы вы ни ехали из тех мест, куда вам надо ездить, и вследствие этого к чудачу стали заезжать в гости и его и жена родня, и оставались у него по неделе и больше, чем, разумеется, и разоряли его, и надоедали ему безмерно, так что он принужден был бросить свой дом. Чудная, прелюбопытная и преподучительная повесть! — В другой описывается, как один француз, начитавшись в «путешествиях» о прекрасных чугунных дорогах, о превосходных паровых дилижансах, об отличных трактирах в Англии, решил посмотреть все это собственными глазами, и что ж?.. Вместо прекрасных чугунных дорог он нашел мерзкую, тряскую, изрытую рытвинами дорогу; вместо превосходных паровых дилижансов он принужден был ехать в одной повозке, в которой избил себе голову и намял бока, на тощих клячах, которые, ступивши два шага вперед, отступали шаг назад; вместо отличных трактиров он провел часов шесть в вонючей крестьянской лачуге, где чуть было не умер с голоду. Вот и все тут. Какое же следствие должен вывести провинциальный читатель из этой повести? А то, что чугунные дороги Англии существуют только в «Московских ведомостях» и что *славны бубны за горами!* — Вообще надо заметить, что эта поговорка принята «Библиотекою» за тезис, который она и развивает самым ловким образом. Провинция этому сочувствует, это ободряет, и не удивительно: человек безграмотный с особенным удовольствием слушает брань на грамотность, потому что эта грамотность есть его позор и бесславие. Лыстать толпе всего выгоднее, это игра наверняка. Кажется, «Библиотека» очень хорошо поняла эту истину. И зато мне известно из самых достоверных источников, что «Библиотека» проникла даже в такие места, куда едва проникали доселе азбуки и календари. Итак, честь и слава ее ловкости, ее деятельности!..

За отделением русской и иностранной словесности следует в «Библиотеке» ученое отделение, под рубрикою «Науки и художества». Это отделение самое лучшее: в нем встречаются иногда статьи, истинно заслуживающие внимания, истинно прекрасные и любопытные. Разумеется, лучшие из этих статей, по большей части, переводные; но случаются иногда хорошие и из оригинальных. Так, например, мы прочли несколько занимательных и мастерски написанных отрывков из «Записок Дениса Васильевича Давыдова»; прочли статью, кажется, под названием «Воспоминания о Сирии», статью интересную, живую, проникнутую чувством¹⁷⁰. Говорят, что сочинитель ее есть не кто иной, как редактор «Библиотеки»: мне до этого нет дела; чья бы ни была статья, она прекрасна, этого для меня довольно. Итак, отделение «Науки и художеств» есть лучшее в «Библиотеке», но оно имеет один недостаток и очень важный: к этому отделению нельзя иметь полной доверенности по крайней мере в отношении к переводным статьям. В самом деле,

если читателям этого журнала известно, что он не только правяет и переделывает Бальзака, но даже укорачивает выпусками и оригинальные статьи, как то было сделано им с статьей г. Шевырева «Сикст V», то кто ж им поручится, что, читая статью иностранного ученого, они получают понятие о взгляде на известный предмет этого ученого, а не какого-нибудь неизвестного (или, пожалуй, и известного) рыцаря, который из-за знаменитого имени выставляет им свою незначительную личность?.. Это предположение тем основательнее, что все статьи «Библиотеки», ученые и неученые (исключая немногих оригинальных), отличаются каким-то общим характером и во взгляде и в изложении, а этот общий характер отличается каким-то провинциальным брамбейзмом¹⁷¹. Такая манера нам кажется очень недобросовестною. Возьму, для примера, повесть Бальзака «Дед Горио». Для кого переводятся в журналах иностранные повести? Для людей, или не знающих иностранных языков, или знающих, но не имеющих средств пользоваться иностранными книгами. Теперь, для чего эти люди читают иностранные повести? Я думаю, не для одной забавы, даже и не для одного эстетического наслаждения, но и для образования себя, чтоб иметь понятие, что пишет тот или другой иностранный писатель и как пишет? Какое же понятие получает он о Бальзаке, прочтя его повесть в «Библиотеке»? — Но «Библиотеке» до этого нет дела: она себе на уме, она смело приделывает к «Старику Горио» пошло-счастливое окончание, делая Растиньяка миллионером, она знает, что провинция любит счастливые окончания в романах и повестях¹⁷². Напротив, если она встречается в иностранной статье какую-нибудь плоскость во вкусе провинции, то не выпустит ее; нет! она скорей еще свою прибавит. Так, в шестой книжке этого журнала, в отделении «Иностранной словесности» есть статья, очень забавная и занимательная «Амброзианские ночи». В ней двое приятелей, Скотовод и Норт, разговаривают о бессмертии души, а потом переходят к переселению душ, и Скотовод сказал, что прежде, чем сделался Скотоводом, он был львом, и очень мило начал рассказывать историю своей львиной жизни:

Норт. Скажи, пожалуй, правда ли, что лев предпочитает человеческое мясо всякому другому, и, отведав его однажды, обыкновенно делается антропофагом?

Скотовод. Он может делаться и может не делаться антропофагом, потому что я не знаю, что такое антропофаг. Что касается до предпочтения, оказываемого им человеческому мясу, то это много зависит от его качества и доброты. Я, например, никогда не мог без принуждения съесть старой бабы, как бы она жирна ни была, не говоря уж о стариках. *A la longue* *

* Наконец. — *Ред.*

предпочитал я серну даже самой молоденькой и мягкой девушке. Девчатины хороша в две, в три недели раз, а всякий день надоест до смерти...

Спрашивается: для кого, как не для провинции, переведена, или, что вероятнее, приделана последняя фраза?..

Но я начал говорить об ученом отделении «Библиотеки»; возвращаюсь к нему, чтобы сказать слова два об одной из его статей: «Способности и мнения новейших путешественников по Востоку»¹⁷³. Это статья оригинальная, мы даже знаем, кому она принадлежит, хотя под ней и не стоит никакого имени. Странно заглавие этой статьи, но еще страннее ее содержание, и если бы я не попал на счастливую идею основания, цели, усилий и успехов «Библиотеки», выражаемых одним словом «провинция» — то был бы принужден возложить на свои уста перст молчания и сознаться, что ум мой стал короток, или, другими словами, сел на пятки. Но Аллах-керим! теперь я догадался, так ничему не дивлюсь и все понимаю. Знаете ли вы, Николай Иванович, какая главная, основная мысль этой статьи?.. А вот какая: все путешественники по Востоку врут и порют дичь, не понимая в особенности Турции, и именно не догадываясь, что Турция в тысячу раз цивилизованнее и образованнее Европы, что она пользуется не искусственною, фальшивою цивилизациею, а истинною, основанною на нравственном достоинстве всех индивидуумов, составляющих эту империю... Мысль поистине смелая и совершенно новая...

Знаете ли, что было сделала со мной эта статья? Меня уже один раз и так обвиняли в *рenegатстве*, как вам известно, и обвиняли напрасно¹⁷⁴; но когда я прочел эту статью, то дивитесь — чуть было и в самом деле не сделался ренегатом в полном смысле этого слова и чуть было не укатил в благословенную Турцию... Правда, мне хорошо, очень хорошо и в своем отечестве; правда, живя в нем, я каждый вечер засыпаю спокойно, в полной уверенности, что встану поутру жив, что, если могу умереть ночью, то по воле божией, а не по прихоти или злобе людской; правда, я всегда смело хожу по улицам, не боясь, что меня кто-нибудь хватит кинжалом в бок, да и был таков, или что начальник города велит посадить меня на кол для своего удовольствия, или отдуть по пятам для наставления на путь истинный; правда, я всегда уверен, что если буду вести себя как следует благородному человеку и не буду мешаться не в свои дела, то никогда не узнаю даже, что такое заключение, тюрьма. Да! все это я знаю и во всем этом сердечно уверен; но страна, где люди все справедливы в высшем значении этого слова, где они не делают зла, не потому, чтобы боялись наказания, а потому, что ненавидят зло... спрашиваю вас, у кого же не родится сильного, непреодолимого желания взглянуть на эту страну хоть одним глазком? А у меня, каюсь в грехе, родилось даже преступное желание водвориться там

навек... Сказать правду, мне приходило на мысль — во-первых сажание на кол, — потом палочное щекотание по пятам, далее, прибивание гвоздем за ухо к дереву, с размалевкою лица медом, для накормления насекомых — наконец, погружение женщин в мешках на дно морей и океанов... Но что ж, подумал я, может быть мы, европейцы, принимаем в этом случае слова за вещи, забывая, что восточные жители, обладающие пламенным воображением, любят выражаться иносказательно, что *сажать на кол* у них означает, может быть, возносить человека на верх почестей и славы; *бить по пятам*, посвящать в кавалеры какого-нибудь ордена; что прибивание гвоздем за ухо значит симпатический способ лечения от какой-нибудь болезни, например, от водянки или полнокровия; что *бросить женщину на дно моря, завязанную в мешке*, значит завязать женщину в мешок любви и бросить на дно сердца или что-нибудь подобное... По счастью, я верю и верил всегда, что как всякий народ в частности, так и человечество вообще, могут быть одолжены своим нравственным совершенством только благодетельному влиянию христианской веры, единой истинной веры на земле, а не чувственному и грубому мухамеданизму. Эта уверенность удержала меня, и только ей обязаны вы, что не лишились своего деятельного сотрудника, а отечество верного сына; без ней я носил бы теперь чалму, и, может быть, имел бы случай на опыте перевести на прозаический язык поэтические выражения жителей Востока. Впрочем, надо вам сказать, что соблазн так силен, что я долго еще колебался; оставил же совершенно свое намерение не прежде, как напал на счастливую мысль, что «Библиотека» журнал *провинциальный*, и что она часто с умыслом отпускает провинциальные *bours-lots**, к числу которых принадлежит и статья «Способности и мнения новейших путешественников по Востоку».

За отделением «Наук и художеств» следует отделение «Промышленности и сельского хозяйства»: о нем я умалчиваю, как о предмете для меня неинтересном и совершенно мне незнакомом. Следующие за ним отделения: «Критика» и «Литературная летопись», вызывают меня — и я спешу к ним.

«Критика» есть самое жалкое, самое плохое отделение, а «Литературная летопись» одно из немногих отделений, которыми «Библиотека» по справедливости может гордиться¹⁷⁵. Странное противоречие!.. Как хотите, однакож так в самом деле, и это опять не совсем удивительно: есть люди, у которых ума хватает на статью в несколько страниц, но есть также люди, у которых ума хватает только на несколько строк. Причина этому заключается в разделе труда, на который природа обращает внимания гораздо больше, чем политическая экономия. Притом же *иному талант, иному два...*

* Осроты. — *Ред.*

Я не хочу нападать на явное отсутствие добросовестности и благонамеренности в критическом отделении «Библиотеки», не хочу указывать на беспрестанные противоречия, на какое-то хвастовство умением смеяться над всем, над приличием и истиною: обо всем этом много говорили другие и мне почти ничего не оставили сказать. Скажу только, что недобросовестность критики «Библиотеки» заключается в какой-то непонятной и высшей причине, кроме обыкновенных и пошлых журнальных отношений. Г. Тютюнджи-оглу ненавидит всякий род истинной славы, гонит с ожесточением все, что ознаменовано талантом, и оказывает всевозможное покровительство посредственности и бездарности: гг. Булгарин и Греч у него писатели превосходные, таланты первостепенные, а г. Гоголь есть русский Поль-де-Кок и, конечно, нейдет ни в какое сравнение с этими гениями. Но это все уж старо и довольно пошло и скучно для повторения: приведу пример поновее и посвежее. Выходит новый роман г. Лажечникова, произведение, конечно, не гениальное, не великое, не бессмертное, но ознаменованное печатью истинного дарования, но дышащее живою, неподдельною теплотою, кипящее благородным жаром, словом, плод искренней, задушевной и образованной мысли, и в то ж почти время выходит какое-то бездарное произведение, под именем «Записок Горянова»¹⁷⁶. Что же? Критик «Библиотеки» берется рассматривать в *одной* статье оба эти произведения, отпускает несколько плоских остроумий насчет первого и превозносит до небес последнее!.. Конечно, это шутка, и для г. забавника очень удачная, потому что умные тотчас догадаются, что он «изволит потешаться», и не придут в сомнение насчет его ума и вкуса, а глупые подивятся его уму и вкусу и поверят ему на слово: в том и другом случае расчет верный, и шутка хоть куда! — Все так, но может ли и должен ли человек, для которого истина что-нибудь значит, который имеет уважение к своему человеческому достоинству, может ли и должен ли он так шутить?.. Нет, воля ваша, а тут что-нибудь да не то! — Этот таинственный г. Тютюнджи-оглу — кто он!.. Уж не турок ли он и в самом деле? Уж не для того ли он усвоил себе европейскую образованность и знание нашего языка и наших обычаев, чтобы отомстить нам за унижение своего отечества, сбивая с прямого пути образования наши провинции, смеясь так злодейски и над правдою и над ними самими?.. Чего доброго — с нами крестная сила!.. Но не одной недобросовестностью удивляет отделение «Критики» в «Библиотеке»: оно, сверх того, носит на себе отпечаток какой-то посредственности, какой-то скудости, негибкости и нерастяжимости ума, которого не становится даже на несколько страниц. Но наш критик умеет этому помочь: на две строки своего сочинения он выписывает две, три, четыре страницы из разбираемой книги, и этим часто избавляет себя от больших затруднений. Да и в самом деле, что бы он

стал писать, он, для которого не существует никаких теорий, никаких систем, никаких законов и условий изящного? Нам скажут, что всего этого не существует и для знаменитого Жюль-Жанена, который, несмотря на то, говорит обо всем, даже и о том, о чем не имеет никакого понятия; нам скажут, что остаются еще личные впечатления и что критик может их излагать. Все это так, да ведь личные впечатления, получаемые образованным человеком от какого-нибудь произведения, непременно должны быть согласны с тою или другою теориею, системою или по крайней мере с тем или другим законом изящного, потому что, даже оставляя в стороне теории и системы, теперь известны многие законы, выведенные из самой сущности творчества; притом можно ли говорить хорошо о прекрасных впечатлениях от такой книги, которая нагнала на вас скуку?.. Нет, очень понятно, отчего критики г. Тютюнджиглу так тощи, сухи и скудны даже источниками изобретения, даже общими местами. Он написал только две критики, которые могут служить образцом журнальной политики и ловкости. Первая, на «Черную женщину» г. Греча, где критик очень ловко и занимательно изложил теорию анатомии, физиологии, электричества и магнетизма человеческого тела, и, не сказав ничего о романе, сказал только, что он говорит о всякой книге, которую хочет пустить в ход — что он ни на одном языке земного шара не читал такого прекрасного произведения. И что ж было следствием этой критики? Разумеется, провинция, думая найти в романе г. Греча все чудеса, которых она не понимает и о которых так хорошо говорил критик, раскупила «Черную женщину». Оно и прекрасно: критик и себя показал и приятеля одолжил! — Вторая, на роман г. Булгарина «Мазепу», где критик как будто нападает на автора за дух новейшего литературного неистовства, а между тем изложением содержания и выписками из романа показывает, что разбираемое им сочинение написано в совершенно неистовом духе, так соблазнительном для провинции. Следствие критики было опять то же самое! — Позвольте, виноват, я еще забыл третью на «Роксолану» г. Кукольника: эта критика не только умно и основательно написана, но даже и добросовестна. Странно только, что г. критик, уничтожая в прах эту драму, осыпает ее автора с головы до ног комплиментами, которые напоминают стих из «Горя от ума»:

Не поздоровится от таких похвал.

Следствия этой критики были совсем другие, нежели двух прежних: г. Кукольник нашелся принужденным защищать и хвалить сам себя в «С. пчеле».

Итак, за целые два года в «Библиотеке» была только одна критика, и умная и беспристрастная вместе, критика на «Роксолану», да две критики недобросовестные, но очень ловкие на

«Черную женщину» и «Мазепу». Все прочие, исключая недобросовестность, чрезвычайно неловки, неудачны, холодны, водяны и состоят большей частью из выписок из разбираемых сочинений. Конечно, это самый легкий способ писать в самое короткое время самые большие критики, и, сказать правду, критик «Библиотеки» в высочайшей степени владеет этим искусством!¹⁷⁷

Теперь следует «Литературная летопись». Как плохо в «Библиотеке» отделение критики, так хороша ее «Литературная летопись». В этом отделении рецензент, хотя также убогает провинции, но имеет в виду и столицу. О добросовестности и беспристрастии «Литературной летописи» много говорить нечего; находить в ней что-нибудь удивительное и чрезвычайное было бы странно; но ей нельзя отказать в одном; очень важном достоинстве: в ловкости, уменьи, знании литературной манеры, в шутливости и часто остроумии. В «Сыне отечества» утверждают, что перед автором «Литературной летописи» ни гроша не стоит ни Менцель, уступающий ему в общирности и глубокости сведений, ни Жюль-Жанен, который славится остроумием и не имеет сотов доли насмешливости критика «Библиотеки для чтения». Я не шучу: эти слова, право, напечатаны в «Сыне отечества». Но я этому не дивлюсь, не дивитесь и вы: я знаю, кто написал эти строки¹⁷⁸. В мире физическом есть существа столь маленькие, что для них все горы да утесы; вы помните басню Крылова, в которой крыса извещает свою куму, что враг их, кошка, попала в когти льву, но кума не поверила, говоря, что сильнее кошки зверя нет?.. Итак дело не о том. Что касается до учености, ею нынче трудновато обморочить; все знают, откуда она почерпается и какими средствами составляется. Напишите нам книгу с систематическим изложением предмета с новой точки зрения, и тогда мы взвесим вашу ученость и поклонимся ей; а на три страницы у кого не станет учености и ума? Что ж касается до удивительного остроумия критика «Библиотеки», то мы все-таки не видим, почему Жюль-Жанен должен сократиться в нуль перед его остроумием. Тайна остроумия рецензента «Библиотеки», значительности и занимательности «Литературной летописи» заключается больше в современности способа выражения и знании литературного такта, нежели в истинном остроумии. Чтоб дело было яснее, укажу на «С. пчелу», этот неистощимый рудник тупоумных рецензий. Выходит трагедия г. Лобанова¹⁷⁹, и «Пчела» начинает жужжать: «Злополучный Борис! Разве мало тебе, что при жизни терпел ты от козней бояр, от преследований враждебной тебе судьбы, от злых наветов и от Гришки! Тебе и за гробом нет спокойствия! Начиная с Нарезного и кончая М. Г. Лобановым*, всякий поднимает

* Отчего ж тут пропущен г. Булгарин, от которого Годунову чуть ли не больше всех досталось?

тебя из могилы, бедный старец; выводит на позорище, заставляет говорить такие вещи, которых тебе никогда и в голову не приходило. Бедный Борис!» — «Бедная Пчела!» скажем мы от себя... Выходит казарменный роман, и она пускается в предлинное и прескучное поучение о том, что книги должны выдаваться опрятно, потому что их читают дамы. В рецензиях «Библиотеки» нельзя найти таких пошлостей, таких беззубых острот, такой тупоумной шутовщины, таких истертых, истасканных общих мест. «Библиотека» смеется не всегда остроумно, но всегда умно или по крайней мере никогда глупо. Жаль только, что ее рецензент иногда покупает свое остроумие незаконными средствами. Мы, право, не понимаем, что хорошего или забавного в том, что он смешивает глупого автора или пошлого издателя чужих сочинений с содержанием типографии, в которой напечатана дурная книга. Так, например, он укорял г. Степанова, нашего почтенного типографщика, шестой год служащего своими неустойчивыми станками «Телескопу» и «Молве», будто он, г. Степанов, вместе с г. Гурьяновым подал лакеям дурной пример присвоения чужой собственности и пропел *пианиссимо* неблагоприобретенные пьесы изданного последним сборника?.. Стыжусь вчуже, напоминая о таком жалком поступке г. рецензента; как он, при всем своем уме и всей своей сметливости, не понял, что клевета не есть остроумие и что в этом отношении его рецензия пропета *препиано*, *препианиссимо*?.. Не понимаем также, что за странная замашка у г. рецензента «Библиотеки», выписывая отрывок из разбираемой им книги, вставлять в выписку пошлости своего изобретения и приписывать их автору разбираемого им сочинения, как он сделал это, например, с г. Кони при разборе его водевиля «Иван Савельич»? — Повторяем опять, неужели клевета есть остроумие? Если остроумие, то уж, без сомнения, *провинциальное*, а не столичное!

«Смесь» составляет последнее отделение «Библиотеки», одно из лучших, из самых занимательных и самых полных. Тут вы найдете все: и брань на французскую литературу, и остроты над французскими водевилями, остроты, целиком взятые из французских же журналов, и ученые известия, и пр. и пр. Я думаю, что такое отделение необходимо для всякого журнала, как десерт для стола. Конечно, чтобы хорошо составлять подобную смесь, нужно быть только *великим человеком на малые дела*; но журнал странная вещь, и если для него нужны люди, способные на что-нибудь прекрасное и даже великое, то не менее их нужны и *великие люди на малые дела*. Редактор «Библиотеки» хорошо понял это, и новый Протей преобразается по своей воле и в повествователя, и в ученого, и в критика, и в рецензента, и в составителя смеси; жаль только, что во всем этом он сохраняет один тон, одну манеру, один дух, употребляет одни замашки...

Довольно — я у берега! Пора оставить «Библиотеку для чтения», оставить во всех отношениях, в полном смысле этого слова. Но какое же следствие выведу я из всего сказанного мною об этом журнале? Следствие у меня должно сойтись с приступом: «Библиотека» есть журнал *провинциальный*, и в этом заключается тайна ее могущества, ее силы, ее кредита у публики. Выкинь она стихотворное отделение, выкинь повести гг. Загоскина, Ушакова, Тимофеева, Брамбеуса, Булгарина, Масальского, Маркова, Степанова и других, замени их повестями гг. Марлинского, Одоевского, Павлова, Полевого, Гоголя; переводи повести лучших писателей современной Европы; перемени свой цинический тон; введи критику строгую, беспристрастную, основательную — и трех четвертей подписчиков у ней как не бывало!.. Впрочем, нельзя не дивиться верному расчету, с которым она основана, неизменяемости и постоянству ее направления, верности самой себе, аккуратности в издании, и, надо сказать правду, хорошему языку, особенно в переводных статьях, в чем ей должны уступить все наши журналы; наконец, ее деятельности, проворству, а более всего — ее бессменному и настоящему редактору...

Теперь мне должно говорить о «Сыне отечества», но я ничего не могу о нем сказать, потому что не только не читал, даже не видал его, как ни старался об этом. «Сын отечества» у нас в Москве считается каким-то призраком-невидимкою, о существовании которого все знают, но которого никто не видит. «Сын отечества» сам заметил, сам сознал эту странность и сомнительность своего существования и вздумал — нынешний год *возродиться*, то есть переменить цвет своей обложки и блеснуть критикою — да, критикою!.. Этой диковинки я кое-как добился. И что ж? В самом деле, *возрожденный* журнал размахнулся со всего плеча критической статейкою, в которой начал похваляться — чем бы вы думали? — беспристрастием!.. Какова же эта критика, спросите вы? Отвечаю вам: ее написал г. ВВВ., автор очень плохих повестей, жалкий перелагатель Бальзака на русско-мещанские нравы, рецензент «С. пчелы» и, наконец, *отставной* сотрудник «Библиотеки», как уверяет в этом публику сама «Библиотека»...¹⁸⁰ Итак, довольно о критике *возрожденного* «Сына отечества»: есть вещи, которые стоит только назвать по имени, чтоб дать о них настоящее понятие!.. Перехожу к «Пчеле».

Вам известно, что «Пчела» жужжит уже давно, что она любит и ужалить, в чем ей, разумеется, никогда не удастся, потому что жало ее тупо. Вам известно также, что этот журнал есть двойчатка: одну половину его составляют политические известия, а другую разные разности. Беда большая пришла бы этим разным разностям, если бы от них отнять политические известия! Вы, почтенный Николай Иванович, не читаете «Пчелы» (ее и многие давно уж не читают), но вы некогда ее чи-

тали: она все та же, над нею тяготеет все тот же уровень золотой посредственности, попрежнему она судит и рядит обо всем, бранит и хвалит одну и ту же книгу, отчего, разумеется, для книги ни лучше, ни хуже; словом, «Пчела» журнал ежедневный, нуждается в оригинале¹⁸¹, так готова поместить брань на все, кроме самой себя. Я не буду слишком распространяться о «Пчеле», я укажу только на одну ее характеристическую черту. Автор критического размаха *возрожденного* «Сына отечества» ужасно расхваливает «Пчелу» и находит в ней один только порок. «Пчела», — говорит он, — вообще отличается беспристрастием (?!), и ее можно только укорить в излишней доброте: она печатает слишком много похвал! Впрочем, хотите ли иметь талисман, чтоб узнавать, какая статья принята по доброй воле и какая статья подсунута ей насильными просьбами? Это очень просто: под статьями последнего рода всегда пишется роковое слово: «сообщено». Что это такое? Насмешка над публикою, ругательство над здравым смыслом? Как? Стало быть, журналист имеет право расхвалить дурную книгу и разбранить хорошую, если поставит под своей статьею словечко «сообщено»?.. Стало быть, он имеет право принять в свой журнал чужое и притом нелепое мнение о той или другой книге, не читавши этой книги, или думая о ней иначе, и прав, когда поставит под глупой рецензией «сообщено»?.. После этого можно ли даже упоминать о «Пчеле»?..

А знаете ли вы о войне, которую «Пчела» ведет против «Библиотеки»? Вот потеха-то! *Ну так и рвется, что есть мочи!* Бедная! мне жаль ее! Каким тупым оружием сражается она с мощным врагом, который не удостоивает ее даже взгляда, как неловко, неуклюже нападает на него она, которая недавно, очень недавно, так низко кланялась ему, так усердно прославляла его!

Враги! — давно ли друг от друга

Их жажда злата отвела?..¹⁸²

В одном из номеров *возрожденного* старца помещена критическая статейка некоего г. Павла Крутенева, автора очень плохой книжонки, на Барона Брамбеуса: прочтите ее, когда вам будет слишком грустно. Может быть, вы заплачете, только не от горя, а от смеху...

Теперь бы мне следовало говорить еще об одном литературном петербургском журнале, да я его и в глаза не видал. Вы догадываетесь, что я говорю о «Литературных прибавлениях к Инвалиду», которые справедливее было назвать «Инвалидными повторениями литературы»? Скорее можно отрыть в Москве допотопную мамонтову кость, чем найти этот журнал. И между тем «Московские ведомости» и «Пчела» уведомляли о его издании на нынешний год: стало быть, он существует.

Говорят, что почтенный издатель этого журнала-невидимки очень сильно ратует против «Библиотеки для чтения» и вашего журнала: может быть! да почему ж бы и не так? Почтенный старец сам пишет, сам и читает, следовательно, никому зла не делает, следовательно его бранные выходки суть не что иное, как невинная забава на старости лет. Итак, в час добрый! — пусть продолжает тешиться!¹⁸³

И вот все *литературные* петербургские журналы! Несмотря на разность их направления и неравенство в силах, все они стремятся к одной цели, к мирному и единодушному преуспеванию в награде за труды и хлопоты, и потому все они очень не любят беспокойных крикунов, мешающих их мирным и полюбовным сделкам между собою и с публикою. Они стараются жить в ладу друг с другом, и если у них бывают между собою размолвки, то всегда не из пустяков каких-нибудь, не из вздорных мнений об изящном, о беспристрастии, добросовестности и других подобных безделках, но всегда из чего-нибудь важного, существенного и необходимого в жизни. Одни из них (так как их немного, то и не считаю за нужное называть по именам) — плывут на всех парусах, делают обороты большие, оптовые; другие, не столь сильные, изворачиваются и так и сяк, и иногда в мутной воде вынимают ловы довольно счастливые. Если ж мелкие извороты им не удаются, если кредит их у публики падает, то они прибегают к *возрождению* или к перерождению, смотря по обстоятельствам. Если у них нет чего другого, зато они могут похвалиться постоянством, деятельностью, устойчивою в условиях, разумеется, внешних, касающихся до выхода номеров, качества бумаги, цвета обложки и тому подобного. Одним словом, одни оптом, другие по мелочи — но, как бы ни было, все более или менее успевают в своих намерениях.

Совсем другое зрелище представляют московские журналы настоящего времени. В них можно заметить и мысль и какие-то порывы благородные и чуждые внешних расчетов, большое усердие к своему делу, и вместе с тем всегда неудачу, неуспех, какую-то медленность и вследствие этого неустойку во внешних условиях программы; словом, московские журналы — люди добрые и честные, но какие-то *злополучные*, как будто бы под несчастною звездою рожденные, и с самого начала своего существования осужденные на бедствия. Вспомните в них пристальнее: что это такое! Идут, кажется, к цели определенной, видимой, а все не доходят до ней, а все сбиваются с пути, ворочаются назад, начинают свое путешествие снова, а все ни шагу вперед!.. Всегда постоянные в цели, они никогда не постоянны в средствах, противоречат сами себе, не верны своей идее, хотя и никогда не изменяют ей. А злые-то петербургские собратия тому и рады: видя неудачи, смеются; слыша себе громкие и справедливые укоры, выставляют в свет числа

своих подписчиков. Странное дело! То ли были московские журналы назад тому не больше как два года? Что тогда были перед ними петербургские журналы? Притча во языцех, предмет посмеяния! — А теперь, кажется, произошел размен в ролях... Грустно, и однакож справедливо!..

Но к чему я пою такую жалобную прелюдию? Не будет ли эта прелюдия длиннее самой песни, эта присказка длиннее самой сказки? Где они, эти московские журналы, о которых я собираюсь говорить? Много ли их?.. Передо мною носится, как бы на крылах бури, множество призраков; но все это тени бойцов умерших... А живые... о, грустно!..

О каких же московских журналах буду я говорить? Много ли их? Мне бы следовало начать с «Телескопа» и «Молвы», подражая петербургским журналам. Там на этот счет не слишком застенчивы и скромны. «Библиотека для чтения» давно уж объявила, что такой журнал, как она, «был настоящею потребностью публики». Если бы писавший эти строки прибавил *«провинциальной»*, то мы нимало не подивились бы его откровенности, которой он сам дивится. «Пчела», без зазрения совести, объявила, что она между газетами то же, что «Библиотека» между журналами, что ее рецензии прекрасны и все статьи превосходны. Соблазнительный пример откровенности! Но, говорит пословица, *что город, то нрав, что село, то обычай*: в Петербурге исстари заведено, между журналами и литераторами, хвалить себя самих, если другие не хвалят, в Москве же, напротив, это всегда почиталось неприличным и смешным. И потому я, следуя московскому обычаю, умалчиваю о «Телескопе» и «Молве». Вы сами, почтеннейший издатель, вследствие вашего отсутствия, имеете полное право быть судьей этих журналов, как они издавались без вас. Я поручусь только за добросовестность и усердие свое; об исполнении судите сами. Поспешу к «Московскому наблюдателю».

Петербургские журналы уверяют, что «Наблюдатель» основан с целью уронить «Библиотеку», и видят в этом большую злонамеренность. Мы этому не верим, во-первых, потому, что уронить «Библиотеку» трудно: книга большая, толстая, *жирная*, как уверяла нас сама «Библиотека», а как жир и сало тождественны, то и *сальная*, прибавим мы от себя; во-вторых, мы скорее можем предположить, что «Наблюдатель» основан с целью сделать реакцию дурному и вредному влиянию «Библиотеки» на *нашу* публику, и в этом мы не только не видим ничего худого или предосудительного, но видим много хорошего и благородного. По объявлению «Наблюдателя» было заметно, что это будет журнал деятельный, настойчивый, упорный, журнал с мнением, направлением, характером. Имена участников в издании утверждали нас в этой вере. Мы ждали «Наблюдателя» с нетерпением, как торжества Москвы над Петербургом, как победы честной литературной деятельности над

литературною промышленностью. В самом деле, журнал новый, юный, с свежими, неистощенными силами, с прекрасными именами, с хорошею репутациею еще до своего рождения — чего мы не были вправе надеяться на него?.. Правда, искушенные холодным опытом, обманутые не раз в самых лучших своих надеждах, утратившие веру в авторитеты, мы иногда задумывались грустно, улыбались недоверчиво; но неужели же «Библиотека», литературная промышленность и посредственность, должны торжествовать, неужели же голос правды уже бессилен, уже заглушен кликами *«к нам! к нам! у нас лучше»* восклицали мы и ласково, с улыбкою посматривали на объявление о новом журнале. Наконец он появился: вышла книжка — Петербург привстал; вышла другая — Петербург приосанился и улыбнулся; вышла третья, четвертая — Петербург захохотал, смотря на пронесшуюся мимо его бую; Москва приуныла — и наши надежды разлетелись в прах!.. Да, господ, прекрасно очарование, мила вера в достоинство всего, что хочется видеть хорошим, но и холодный, угрюмый скептицизм имеет свою добрую сторону: если с ним слишком мучает вас зевота, зато с ним не попадешь в дурачки, а быть в дурачках всего хуже!..

Прежде нежели мы объясним, почему «Наблюдатель», обладая всеми средствами, необходимыми для журнала, несколько не оправдал надежд, которые подавал о себе, мы должны сказать, что он, в самом деле, был предприятием честным, добросовестным, благонамеренным, что редакция его употребляла и употребляет все средства сделать его лучшим, что она не щадит для этого ни издержек, ни труда. Роскошное, великолепное издание, полнота книжек, мелкий шрифт статей доказывает это. Со стороны своей благонамеренности «Наблюдатель» не изменил своей программе; но благонамеренность и талант или уменьше, к несчастию, не одно и то же!..

Журнал должен иметь прежде всего физиономию, характер; альманачная безличность для него всего хуже. Физиономия и характер журнала состоят в его направлении, его мнении, его господствующем учении, которого он должен быть органом. У нас в России могут быть только два рода журналов — ученые и литературные; говоря могут быть, я хочу сказать — могут приносить пользу. Журналы собственно ученые у нас не могут иметь слишком обширного круга действия; наше общество еще слишком молодо для них. Собственно литературные журналы составляют настоящую потребность нашей публики; журналы учено-литературные, искусно дирижируемые, могут приносить большую пользу. Теперь какие мнения, какое учение должно господствовать в наших журналах, быть главным их элементом? Отвечаем, не задумываясь: литературные, до искусства, до изящного относящиеся. Да — это главное! Вы хотите издавать журнал с тем, чтобы делать

пользу своему отечеству, так узнайте ж прежде всего его главные, настоящие, текущие потребности. У нас еще мало читателей: в нашем отечестве, составляющем особенную, *шестую* часть света, состоящем из шестидесяти миллионов жителей, журнал, имеющий пять тысяч подписчиков, есть редкость, неслыханная, диво дивное. Итак, старайтесь умножить читателей: это первая и священнейшая ваша обязанность. Не пренебрегайте для этого никакими средствами, кроме предосудительных, наклоняйтесь до своих читателей, если они слишком малы ростом, пережевывайте им пищу, если они слишком слабы, узнайте их привычки, их слабости и, соображаясь с ними, действуйте на них. В этом отношении нельзя не отдать справедливости «Библиотеке»: она наделала много читателей; жаль только, что она без нужды слишком низко наклоняется, так низко, что в рядах своих читателей не видит никого уж ниже себя; крайности во всем дурны; умеете наклонить и заставить думать, что вы наклоняетесь, хоть вы стоите и прямо. Потом вторая ваша обязанность, развивая и распространяя вкус к чтению, развивать вместе и чувство изящного. Это чувство есть условие человеческого достоинства: только при нем возможен ум, только с ним ученый возвышается до мировых идей, понимает природу и явления в их общности; только с ним гражданин может нести в жертву отечеству и свои личные надежды и свои частные выгоды; только с ним человек может сделать из жизни подвиг и не сгибаться под его тяжестью. Без него, без этого чувства, нет гения, нет таланта, нет ума — остается один пошлый «здравый смысл», необходимый для домашнего обихода жизни, для мелких расчетов эгоизма. Кто откликается на одну плясовую музыку, откликается не сердцем, а ногами, чью грудь не томит, чью душу не волнует музыка; кто видит в картине только галантерейную вещь, годную для украшения комнаты, и дивится в ней одной отделке; кто не полюбил стихов смолоду, кто видит в драме только театральную пьесу, а в романе сказку, годную для занятия от скуки, тот не человек, хотя бы он умел болтать о Россини, о Роберте-дьяволе, о чугунных дорогах и паровых машинах. Эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности. Пусть процветает в Северо-Американских Штатах гражданское благоденствие, пусть цивилизация дошла до последней степени, пусть тюрьмы там пусты, трибуналы праздны: но если там, как уверяют нас, нет искусства, нет любви к изящному, я презираю этим благоденствием, я не уважаю этой цивилизации, я не верю этой нравственности, потому что это благоденствие искусственно, эта цивилизация бесплодна, эта нравственность подозрительна. Где нет владычества искусства, там люди не добродетельны, а только благоразумны, не нравственные, а только осторожны; они не борются со злом, а избегают его, избегают его не по ненависти ко злу, а из расчета. Цивилизация тогда только имеет

цену, когда помогает просвещению, а следовательно, и добру — единственной цели бытия человека, жизни народов, существования человечества. Погодите, и у нас будут чугунные дороги и, пожалуй, воздушные почты, и у нас фабрики и мануфактуры дойдут до совершенства, народное богатство усилится; но будет ли у нас религиозное чувство, будет ли нравственность — вот вопрос! Будем плотниками, будем слесарями, будем фабрикантами; но будем ли людьми — вот вопрос!

Чувство изящного развивается в человеке самим изящным, следовательно, журнал должен представлять своим читателям образцы изящного; потом чувство изящного развивается и образуется анализом и теорией изящного, следовательно, журнал должен представлять критику. Там, где есть уже охота к искусству, но где еще зыбки и шатки понятия об нем, там журнал есть руководитель общества. Критика должна составлять душу, жизнь журнала, должна быть постоянным его отделением, длиною, не прерывающеюся и не оканчивающеюся статьею. И это тем важнее, что она для всех приманчива, всеми читается жадно, всеми почитается украшением и душой журнала. Первая ошибка «Наблюдателя» состоит в том, что он не сознал важности критики, что он как бы изредка и неохотно принимается за нее. Он выключил из себя библиографию, эту низшую, практическую критику, столь необходимую, столь важную, столь полезную и для публики и для журнала. Для публики здесь та польза, что, питая доверенность к журналу, она избавляется и от чтения и от покупки дурных книг, и в то же время, руководимая журналом, обращает внимание на хорошие; потом разве по поводу плохого сочинения нельзя высказать какой-нибудь дельной мысли, разве к разбору вздорной книги нельзя привязать какого-нибудь важного суждения? Для журнала библиография есть столько же душа и жизнь, сколько и критика. «Библиотека» очень хорошо поняла эту истину, и зато браните ее как угодно, а у ней всегда будет много читателей. Теперь я сделаю несколько общих замечаний на «Наблюдателя», а потом перейду к его критике.

«Наблюдатель» есть журнал *энциклопедический*: и вот еще один из главных его недостатков, одна из причин, мешающих его успеху. Мы не говорим уже о том, что энциклопедизм бесполезен, вреден, что он теперь, к нашему несчастию, овладел нами и кружит наши головы, мы не говорим, что энциклопедизм есть не универсальность, а скорее односторонняя поверхностность; мы спрашиваем только, сообразен ли план и границы «Наблюдателя» с энциклопедизмом? «Библиотека» имеет полное право быть энциклопедическим журналом: в книге из двадцати с лишком листов можно поговорить о многом. Но и «Библиотека» разделена на известное число отделений, и в каждой книжке ее вы видите одно и то же расположение, одни и те же отделения, и в одинаковом числе; и потому, если вы

не занимаетесь, например, сельским хозяйством, то можете его отделение оставлять неразрезанным — для вас и так много останется, чего почитать. В «Наблюдателе», напротив, такой энциклопедизм невозможен. Положим, статья г. Давыдова «О свекловично-сахарном производстве» есть статья превосходная, европейская, да она имеет интерес частный, она тяжела для такого журнала, как «Наблюдатель»; ее место в «Земледельческом журнале» или, что всего лучше, в «Московских ведомостях», у которых, говорят, около десяти тысяч подписчиков. Притом мы не видим полного энциклопедизма в «Наблюдателе»: его поприще ограничивается очень немногими и определенными предметами: литературою, историею, сельским хозяйством и политическою экономиею. Напротив, нам кажется, что его энциклопедизм состоит в каком-то отсуствии общности, порядка, характера. Это альманах, это тетради, где сшиваются и дурные, и посредственные, и хорошие, и отличные статьи. Только периодический выход его книжек делает его журналом. Конечно, в нем бывают статьи превосходные, но эти статьи не составляют регулярного войска, это настоящая милиция, которая идет неровным шагом, нападает недружно, невпопад, нестройно и, сильная своим многолюдством, своею храбростию, везде проигрывает сражения, везде отступает. Поэтому я не буду пересчитывать статей «Наблюдателя» и отдавать в каждой из них отчеты. «Наблюдатель» особенно щеголяет стихотворениями, но в этом он недалеко ушел от «Библиотеки». Кроме того, что в нем было не более двух или трех порядочных стихотворений, в нем есть множество таких, которые решительно не делают чести его вкусу, как, например, «Своя семья», уродливая и грязная карикатура на поэзию¹⁸⁴. Собственно из изящных произведений замечательны: «Иван Барабаш» г. Срезневского; «Маскарад» г. Павлова и «Себастиан Бах» г. Безгласного¹⁸⁵, а из теоретических: «Взгляд на направление истории» г. Ястребцова. О переводных умалчиваю: между ними есть и очень хорошие и очень посредственные. Обращаюсь к критике.

Критика в «Наблюдателе» так странна, так удивительна, что стоит особенного, подробного рассмотрения, для которого я теперь не имею времени, да и у вас неостанет места. Надобно сказать, что это критика характерная, верная самой себе, добросовестная и убежденная, если можно так выразиться; но вместе с тем не достигающая своей цели, не приносящая пользы, не понимаемая публикою. Причина этому заключается в том, что она не современна, что она отзывается классицизмом, не имеет никакого основного начала, никакого центра, из которого бы выходила, что она, наконец, похожа на аббата Баттё во фраке XIX века. Знаю, что я сказал слишком много, что подобные вещи или вовсе не говорятя, или говорятя с доказательствами: я представлю их в особенной статье «О кри-

тике «Московского наблюдателя». Пусть как хотят судят о моем поступке, но я твердо убежден, что можно уважать чужие мнения и быть с ними несогласным, что уважение уважением, приличие приличием, а правда правдою, что комплименты и мадригалы хороши в гостиной, на паркете, а не в журнале, где всего важнее честное, независимое, чуждое личностей, но и твердое, стойкое мнение.

Этим пока оканчиваю мои замечания о литературных журналах. Что ж касается до книг, относящихся к изящной словесности, то в Петербурге, в ваше отсутствие, не вышло ни одной достойной внимания; в Москве вышел «Ледяной дом», новый роман И. И. Лажечникова. Этот роман был истинным подарком русской публике, прекрасною, лучезарною звездою на пустынном небосклоне нашей литературы. Но я не буду говорить о нем: он стоит подробного рассмотрения; и так как *mineux tard, que jamais**, то в «Телескопе», без сомнения, будет помещен полный отчет об этом примечательном произведении¹⁸⁶. Не мало наделало шуму появление «Стихотворений г. Бенедиктова»: одни увидели в них зарю новой поэтической жизни в нашей литературе, другие не признают в них даже таланта версификации; середины между этими двумя крайностями нет; публика так же разделена, как и журналы, в отношении к г. Бенедиктову. Вам известно об ней мое мнение: может быть, оно несправедливо, но оно было плодом убеждения, чуждого всякой личности. Как бы то ни было, но я решил-ся не говорить более об этом предмете; пусть решит этот вопрос время, лучший решитель таких вопросов. К числу приятных явлений нашей бедной литературы принадлежат «Стихотворения г. Кольцова», которые вам также известны. Но г. Кольцову не так посчастливилось, как г. Бенедиктову.

И вот я кончил... А следствие?... К чему его выводить, когда оно и так ясно? Факты говорят иногда красноречивее рассуждений. Литература есть народное самосознание, и там, где нет этого самосознания, там литература есть или скороспелый плод, или средство к жизни, ремесло известного класса людей. Если и в такой литературе есть прекрасные и изящные создания, то они суть исключительные, а не положительные явления, а для исключений нет правила...

* Лучше поздно, чем никогда. — *Ред.*

НИЧТО О НИЧЕМ

«Телескоп», 1836, ч. XXXI, стр. 155-171, 341-352, 472-493, 630-661 (ценз. разр. 2 января, 22 февраля, 5 и 17 марта 1836). В настоящем издании части, печатавшиеся в разных номерах, помечены цифрами. Подпись: В. Б е л и н с к и й.

8 июня 1835 года Надеждин уехал за границу и вернулся только к концу декабря этого года (см. «Объявление от издателя», «Молва», 1835, № 50). Белинский все это время самостоятельно вел журнал, поэтому полугодовой обзор он представляет в форме отчета издателю. Отчет пере-

кликается со статьей самого Надеждина «Европеизм и народность в отношении к русской словесности», напечатанной в тех же номерах тридцать первой части. Статья Надеждина являлась продолжением начатой Белинским борьбы с Шевыревым. В ней Надеждин выступает с продуманной защитой молодого критика. Он беспрерывно обращается к темам и даже отдельным формулировкам Белинского. Одновременно с этим Надеждин отражает нападение рептильной «Северной пчелы» на «плебейскую безымянность» Белинского. Надеждин подчеркивает крупное литературное значение Белинского.

В полном единодушии Белинский и Надеждин разоблачают «официальную народность», ведут борьбу с «Московским наблюдателем».

Характеристика, данная этому журналу Надеждиным, развернута в «Ничто о ничем». Общие положения применены к конкретным литературным событиям полугодия. В центре статьи поставлены проблемы народности, реализма и романтизма.

По существу Надеждин в своей статье повторил в ряде случаев оценки и положения Белинского. Это относится в особенности к тем частям, в которых говорится о Бенедиктове, шевыревских литературных «реформах». Есть единство и в исходном понимании народности. Но Надеждин не вполне последователен. Он дает положительную оценку творчества Загоскина, провозглашает пресловутый панегирик «русскому кулаку». Молодой критик немедленно же подал, говоря его словами, «апелляцию» на издателя. Белинский указывал, что в оценке Загоскина Надеждин полностью сошелся с «Наблюдателем». Много едкого сказал Белинский по части прославления Надеждиным русского кулака.

Критику романтизма Белинский начал еще в «Литературных мечтаниях» и с исключительным блеском развернул ее в статье о повестях Гоголя. В «Ничто о ничем» он этот вопрос считает уже решенным: влияние романтизма в русской литературе было внешним, эфемерным. Поэтому он в ироническом замечании объединяет плоского Ушакова и пламенного Шиллера.

Большую часть статьи занимает подробнейший разбор типичного явления «смирдинского» периода русской литературы — журнала Сенковского «Библиотека для чтения».

Критикуя аристократические нападки на «торговое направление» в современной литературе, Белинский основной вред «Библиотеки для чтения» усматривает в беспринципности Сенковского, которая возвращает читателя, наносит вред обществу. Он подчеркивает пустословие и недобросовестность критики Сенковского. Все это неприемлемо для Белинского не только потому, что журнал, по его понятиям, должен отличаться единством направления, но и потому, что он прекрасно видит, куда ведет беспринципность Сенковского. Сенковский выступает верным соратником Булгарина, последовательным защитником казенно-благонравной литературы. Белинский ратует за журнал с четким прогрессивным направлением. Принципиальная задача такого журнала — создать литературу, проникнутую гуманистическими и демократическими идеалами.

¹⁴⁹ (Стр. 181). Как установлено комментаторами, Белинский имеет в виду статью Булгарина «Ничто, или альманажная статейка о ничем»

(«Новоселье», 1833). Белинский пародирует болгаринское название в своем заглавии.

¹⁵⁰ (Стр. 183). В «Литературных мечтаниях» Белинский развил эту мысль Н. Полевого, писавшего, что не получивший «никаких пособий образования» Державин проявил природный гений («Московский телеграф», 1832, № 15 и 16).

¹⁵¹ (Стр. 184). Замысел написать «особенную статью» о Пушкине Белинский осуществил позднее, в 1843—1846 годах (см. т. III наст. изд.).

¹⁵² (Стр. 186). Белинский иронизирует здесь над романами Булгарина «Иван Выжигин» и «Дмитрий Самозванец», а также над фантастическими повестями Брамбеуса «Фантастические путешествия», «Большой выход у Сатаны» и др.

¹⁵³ (Стр. 186). Белинский имеет в виду статью Шевырева «Словесность и торговля». В ней было заявлено, что «гибельное влияние торговли убило словесность» («Московский наблюдатель», 1835, март, кн. I, стр. 7).

¹⁵⁴ (Стр. 186). Из «Разговора книгопродавца с поэтом» Пушкина. Вторая строфа читается: «Без денег и свободы нет...»

¹⁵⁵ (Стр. 187). Николай Иванович Надеждин.

¹⁵⁶ (Стр. 187). Петр I.

¹⁵⁷ (Стр. 188). По указу Александра I от 6 августа 1809 года о чиновниках.

¹⁵⁸ (Стр. 189). Белинский применяет к литературе XVIII века пародию Н. Полевого на пушкинское послание «К вельможе» (1830). Поэт «как орел» —

С земли далеко улетел,
В передней у вельможи сел,
И песни дивные, живые
В восторге радости запел.

(«Московский телеграф», 1832,
т. VIII, стр. 133.)

¹⁵⁹ (Стр. 191). «Ловкий и сметливый журналист» — Сенковский, его «богатым собратом» был книгопродавец А. Смирдин. Издаваемый Сенковским журнал «Библиотека для чтения» пользовался огромным успехом. Его тираж доходил до пяти тысяч экземпляров — цифра огромная для того времени.

¹⁶⁰ (Стр. 192). Эти имена следующие: Баратынский, Барон Брамбеус, Булгарин, А. Воейков, П. Вяземский, Ф. Глинка, Греч, Д. Давыдов, Жуковский, Загоскин, И. Киреевский, Луганский, Крылов, Кукольник, Марлинский, В. Одоевский, Плетнев, Погодин, Н. Полевой, Пушкин, Рудый Панько (Гоголь), Хомяков, Н. Языков, Шевырев и «много других совсем не знаменитых», как говорит Белинский, — К. Арсеньев, В. Григорович, М. Лобанов, К. Масальский, А. Норов, Д. Очкин, Д. Хвостов и др.

¹⁶¹ (Стр. 192). Одна из таких «знаменитостей», князь Вяземский писал 18 апреля 1834 года: «С нею («Библиотекою») дела иметь нельзя ни важного, ни бездельного. «Северная пчела» из одного пчельника с «Библиотекою» («Русский архив», 1868, стр. 637—638). «Молва» 22 июня 1834 года отмечала: «На обертке шестой книжки «Библиотеки для чтения» исчезло еще одно имя — князя П. А. Вяземского» (№ 25, стр. 379).

¹⁶² (Стр. 193). В объявлении о выходе «Библиотеки для чтения» «Северная пчела» (1833, № 177) писала: «В сем журнале участвуют почти все известные своими дарованиями и произведениями в стихах и прозе русские писатели.

Литературная и ученая редакция, выбор статей и состав ежемесячных книжек поручены опытным по этой части литераторам. Журнал «Библиотека для чтения», имеющий предлогом одну лишь общую пользу читателей, остается совершенно чуждый всякого духа партий и не принадлежит ни к какой исключительно литературной касте. Все благонамеренные и прилично изложенные мнения найдут в нем открытое для себя поприще.

Для соблюдения достоинства, приличного изданию, поочередно украшаемому всеми известнейшими в словесности нашей именами, «Библиотека для чтения» не входит в споры ни с какими иными журналами и не отвечает на их выходки и критики.

«Бесстыдство» этого объявления, по мнению Белинского, подчеркивается не только самохвалством и похвальбой напрокат взятыми именами, но и тем, что «Библиотека для чтения» в действительности и не думала сохранять «беспристрастие» и очень скоро превратилась в орган политической реакции.

¹⁶³ (Стр. 196). Рецензия Белинского на постановку комедии Загоскина «Недовольные» появилась в «Молве», 1835, № 48—49.

¹⁶⁴ (Стр. 196). Белинский намекает на рецензию Надеждина, писавшего о повести Ушакова, что «главная идея не выполнена, цель не достигнута» («Телескоп», 1831, № 3, стр. 386, 390). Сравни мнение самого Белинского в «Литературных мечтаниях». В настоящей статье критик отвечает на памфлет Ушакова под названием «Пиюша», направленный против Белинского.

¹⁶⁵ (Стр. 197). А. Измайлов — баснописец 10—20-х годов XIX века, писавший в сугубо натуралистической грубоватой манере.

¹⁶⁶ (Стр. 199). «Сельцо Дятлово» напечатано в «Библиотеке для чтения», 1834, т. IV, отд. I, стр. 125.

¹⁶⁷ (Стр. 200). О Пиюше, примеч. 122.

¹⁶⁸ (Стр. 202). В образе «Висяши» В. Ушаков дал грубую и откровенную карикатуру на Белинского.

¹⁶⁹ (Стр. 206). Аврора Дюдеван — Жорж Занд.

¹⁷⁰ (Стр. 207). «Воспоминания о Сирии» действительно принадлежат Сенковскому.

¹⁷¹ (Стр. 208). От «Барона Брамбеуса».

¹⁷² (Стр. 208). «Дед Горио» Бальзака появился впервые в «Телескопе».

¹⁷³ (Стр. 209). Статья Сенковского.

¹⁷⁴ (Стр. 209). «Ренегатом», «безбородым юношей», «доморощенным Шеллингом» назвала Белинского «Северная пчела». Белинский ответил «Журнальной заметкой» («Молва», 1835, № 46—47), а Надеждин, как мы уже знаем, статьей «Европеизм и народность» (см. вступит. заметку).

¹⁷⁵ (Стр. 210). «Литературная летопись» Сенковского велась в виде сюжетно-законченных рассказов. Полная беспринципность, зубоскальство, подмена критического убеждения личным отношением сделали «Брамбеуса» скандальным героем «Литературной летописи».

¹⁷⁶ (Стр. 211). «Постоялый двор. Записки покойного Горяинова, изданные его другом Н. П. Маловым», СПб, 1835. Рецензия Белинского в «Молве», 1836, № 1. Горяинов — псевдоним А. Н. Степанова.

¹⁷⁷ (Стр. 213). То же самое указывалось еще раньше в «Молве» (1834) в рецензиях на «Библиотеку для чтения», тт. I и II, приписываемых Белинскому (см. «Литературная газета», 1944, 6 декабря).

¹⁷⁸ (Стр. 213). Эти строки написаны В. М. Строевым — братом упомянутого выше историка С. М. Строева. Одно время В. Строев был в тесных связях с членами кружка Станкевича. Пересхав в Петербург, он в статьях, подписанных «В. В. В.», выступал в «Сыне отечества» (1836—1840) с грубыми выпадами и непристойными выходками против Белинского и его критики.

Возмущенный нечистоплотными журнальными проделками В. М. Строева, Станкевич писал: «И этот человек говорит, что критики Белинского пахнут кабаком. Я не одобряю слишком полемического тона у Белинского, но это душа добрая, энергическая, ум светлый, за которым Строеву не угнаться» (Станкевич, «Переписка», 1914, стр. 325). Критические статьи Строева показывают, что в кружке Станкевича не было полного единства взглядов. Строев так же, как и другой приятель Станкевича, Я. М. Неверов, занимал резко отрицательную позицию по отношению к Белинскому. Даже когда имя Белинского стало символом новой критики, Строев напечатал в «Сыне отечества» статью под заглавием «Отчего у нас нет критики» (1840, № 11). Второй член кружка Я. Неверов в 1839 году в обзоре русской литературы принципиально остановился на Пушкине, противопоставляя Белинскому свое понимание истории русской литературы. Гоголь для него остался за рамками русской литературы 30-х годов.

¹⁷⁹ (Стр. 213). Трагедия Мих. Лобанова «Борис Годунов» (1835).

¹⁸⁰ (Стр. 215). В. В. В. — псевдоним В. Строева.

¹⁸¹ (Стр. 216). «Оригиналом» Белинский называет материал для набора.

¹⁸² (Стр. 216). Нарочито измененное двустипшие из «Евгения Онегина» (гл. VI, строфа XXVIII). Следует: «Их жажда крови отвела».

¹⁸³ (Стр. 217). Издателем «Литературных прибавлений» в 1825—1837 годы был А. Ф. Воейков.

¹⁸⁴ (Стр. 222). «Своя семья» — повесть в стихах Н. Прокоповича (1835).

¹⁸⁵ (Стр. 222). Псевдоним кн. В. Ф. Одоевского.

¹⁸⁶ (Стр. 223). См. т. II наст. изд.